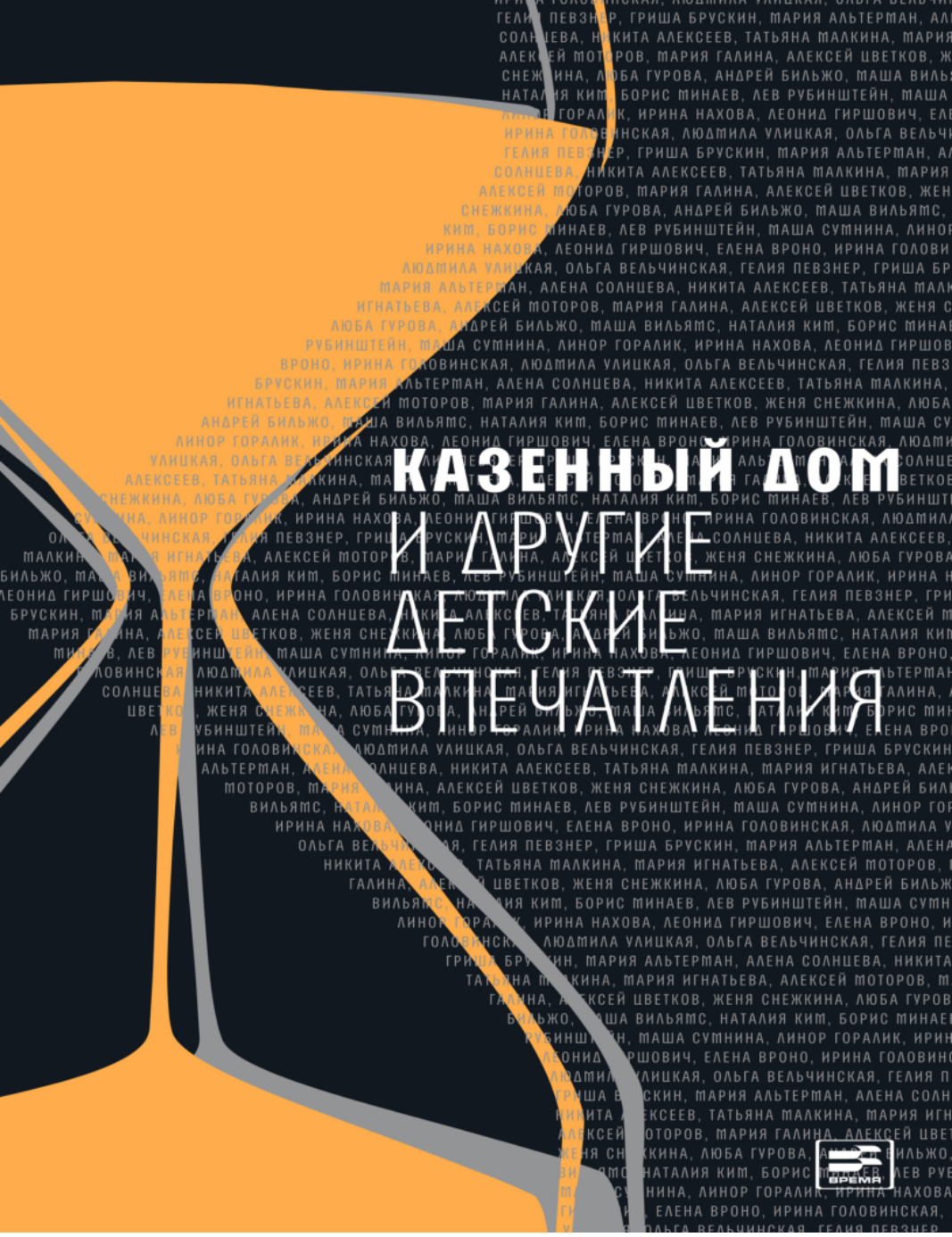
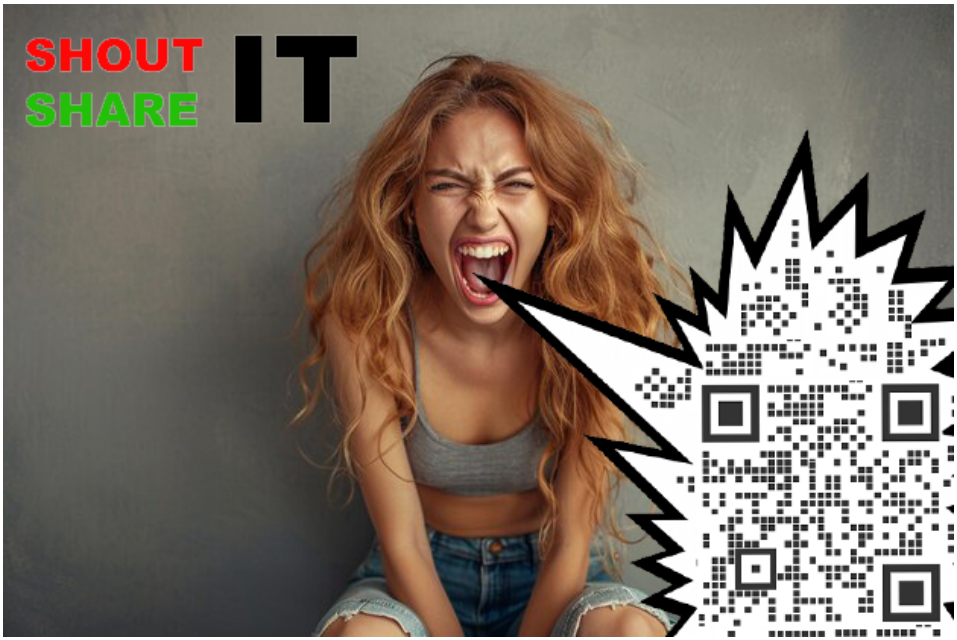

КАЗЕННЫЙ ДОМ
И ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В этой книге собраны воспоминания и размышления взрослых людей, помнящих о своей детской травме – временном отлучении от семьи по очень уважительным причинам: детский сад, больница (санаторий) в любое время года или пионерлагерь (чужая дача) летом. Любой не родительский дом для ребенка – это и есть дом казенный, опыт пребывания в котором западает в душу на всю жизнь. Авторы сборника сыграли в увлекательную игру – попытались преобразовать боль, страх, стыд в текст. Получилась единая история о насилии и разных способах преодоления его последствий, об осмыслении прожитого, о становлении личности, об обретении свободы.

- Казенный дом и другие детские впечатления (сборник)
  -
  - От составителя. Ирина Головинская
  - Мария Степанова. Женская раздевалка клуба «Планета Фитнес»[1]
  - Лето в прекрасном обществе
    - Людмила Улицкая. Выход[2]
    - Ольга Вельчинская. Пионерское лето в прекрасном женском обществе[3]
    - Гелия Певзнер. Здесь никого нет[4]
    - Гриша Брускин. Как в кино[5]
    - Мария Альтерман. Воскресенск[6]
    - Алена Солнцева. Травма социализации[7]
    - Никита Алексеев. Беглая поэзия[8]
    - Татьяна Малкина. Лучшее средство[9]
  - Отставка из рая
    - Мария Игнатьева. Под водой[10]
    - Алексей Моторов. Петушок на палочке[11]
    - Мария Галина. Рыбы бессловесные твари[12]
    - Алексей Цветков. Отставка из рая[13]
    - Женя Снежкина. Кривой рот[14]
    - Люба Гурова. Витамин из склянки[15]
    - Андрей Бильжо. Тайны Егора[16]
    - Маша Вильямс. Миша[17]
    - Ирина Головинская. Клапмютценталер[18]
    - Наталия Ким. Очки[19]
    - Борис Минаев. В отделении запрещается уединяться[20]
  - План «Б»

        - Лев Рубинштейн. Подлива[21]
        - Наталия Ким. Пролетая над куком гнездушки
        - Маша Сумнина. Адаптация[22]
        - Линор Горалик. В белых халатах[23]
        - Ирина Нахова. Сирота[24]
        - Леонид Гиршович. Человечество: План Б[25]
    - В качестве заключения
        - Елена Вроно. Белая мышка – эмблема любви[26]
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26

Казенный дом и другие детские впечатления (сборник)

© Алексеев Н. Ф., Альтерман М. М., Бильжо А. Г. и др., текст, 2019
© Головинская И. Г., составление, предисловие, 2019
© Оформление, «Время», 2019

* * *

От составителя. Ирина Головинская

Словосочетание «казенный дом» уверенно отсылает нас к блатной лирике, к «небу в клеточку» и поговорке «от тюрьмы и сумы». Но если взглянуть чуть шире, любой не родительский и не родственно-дружеский дом для ребенка – это и есть дом казенный, и пребывание в нем вне домашнего тепла – это и есть опыт неволи и сиротства, пусть и временного.

Все советские и постсоветские дети так или иначе столкнулись с феноменом «казенного дома», у всех есть воспоминания о детском саде или о пионерском лагере, а для некоторых, увы, казенным домом стала школа.

Взрослые, склонные к рефлексии, тем или иным способом изживают в себе детскую травму сиротства, в том числе описывая свои чувства, сомнения, страхи. Для некоторых же авторов сборника опыт казенного дома оборачивается опытом обретения свободы, опытом осмысления себя в предлагаемых обстоятельствах, чаще всего вполне ужасных, а смутный детский протест во взрослом возрасте превращается в уверенность в том, что человек не должен так жить.

Читатель, вовлекаясь в эту стихию, может сопереживать, сравнивать свои собственные переживания с теми, которыми щедро и откровенно поделились авторы сборника, увлекаться разнообразными сюжетами и жизненными коллизиями, смеяться вместе с теми, кто смеется над собой. Любое осмысление прожитого всегда полезно и увлекательно. Увлекательно еще и потому, что, несмотря на почти классицистское единство действия (мест действия в этих рассказах, строго говоря, три: детсад, пионерлагерь, больница), моделей поведения оказывается очень много, повороты сюжета тоже часто бывают неожиданные, иногда прямо-таки детективного свойства. И, конечно, очень интересно сравнивать, как разные люди по-разному реагируют на один и тот же вызов, спектр чувств – по всей шкале.

Послесловие к сборнику написала Елена Вроно, известный психиатр и подростковый психотерапевт, ежедневно сталкивающаяся в своей врачебной практике с драмами, выросшими в том числе и из разного рода казенных домов.

Ирина Головинская

Мария Степанова. Женская раздевалка клуба «Планета Фитнес» [1]

Общего ничего, кроме тепла и шерсти,
Одинаких ключей и девяти отверстий,
Наполняемых чем? влагой, сластью, говном;
Накрываемых ртом; закрываемых сном.
Выпекающих: кровь, слезы, детей и серу.
Окружающих: суть или чужую плоть.
О девяти своих я захожу и села
Снять. Постояла быть. И направляюсь плыть.
Розовы и желты, крупные как младенцы,
Голышом – нагишом – по уши в полотенце –
Стайки деводерев пересекают пол.
Каждое входит в душ, томно склоняя ствол.
Нужно, как виды вин и сорта куропаток,
То ли классифици, то ли полюбопы:
Вот пластины ключиц; вот паруса лопаток.
Нужно занесть в реестр каждый подъем стопы.

Скоро таких не станет. Скоро доставят смену.
Здесь перетянут бархат, там перестроят сцену,
На сочетанье кости, кожи и черных кос
Будут дивиться гости, не пряча слез.

Впрок молодой-красивый
Или дурной-хороший
В детском саду играет:
Трогает твою сливу,
Причащается груше,
Воду ртом собирает:
Безсвязная, резная наследует зима,
И брата не узнает животное ума.

Этот столб водяной может стать ледяной,
Разум заразой и воздух газом,
Голубки-Любки сомкнутою стеной
Замаршируют по лабазам.
И дверь, что открывалась на плавательный куб,
Откроется на малость, как зиппер на боку.

И выступим из тапок, коронок и часов,
Из соположных тряпок, ногтей и голосов.

И в ноздри, рты и уши, как с чайника дымок,
Толпой повалят души,
Сорвавшие замок.
Но, как в школе лесной, все же шумит излишек
Кремов, уст и волос, мышц и подмышек.
Автозагар и стыд, словно лисицы нор,
На поверхность тела глядят в окуляры пор.
Но, как в скотском вагоне, где в тесноте и матом,
Бродят квадраты пара и долгий вой,
Непреступное, небо становится братом.
И кто-то поет в душевой.

В пионерлагерях, в синих трусах июля,
То упираясь, то поднимая флаг,
Первое я, насупленное, как пуля,
Делает первый шаг.
И хмуря пейзаж, как мнут в кулаке бумагу,
Почти небесами гляжу на него. И лягу,
Как та шаровая молния, на поля –
В один оборот руля.

Лето в прекрасном обществе

Людмила Улицкая. Выход [2]

Я знаю одного очень яркого человека, моложе меня лет на двадцать пять, который время от времени вспоминает о пионерском лагере «Артек» с ностальгической нежностью. Я в «Артеке» не была, меня посылали в заводской подмосковный лагерь, расположенный в чудесном месте, в Рузе, на берегу реки. Но у меня вертится на языке вопрос: а что там в «Артеке» было с сортиром?

По этой части я не была избалованным ребенком, жила в коммуналке – на семь семей одна уборная, – где по утрам выстраивалась очередь к унитазу. Соседи с личными сиденьями, хранящимися в комнате, стояли в унылой, но нервной очереди. Нетерпеливые пользовались ночными горшками на собственной территории.

Но когда я, неизбалованная, впервые попала в пионерский лагерь летом 1953 года, я испытала настоящий шок, зайдя в длинное строение с восемью очками на общем постаменте, захлебнулась от запаха. Глаза защипало. Поначалу это был запах благородной хлорки, но уже на второй день хлорки было не видать, она приобрела охристый оттенок, и воняло теперь покрепче.

Войти туда заставить себя я не смогла. Участок лагеря был большой, можно было найти укромное место под кустиком или перелезть через забор и затеряться в лесу. Но днем это делать было сложно: ходили строем – то на линейку, то на речку, то в столовку. На третий день, когда терпеть было невмоготу, поздно вечером я вышла из палаты и шмыгнула к забору. Он был низкий, перелезть не трудно, тропинка вела в овраг, к ручью, и там было сколько угодно укромных кустиков, даже больше, чем нужно. Было страшновато. Но страх я преодолела, потому что бывают вещи и поважнее страха. Проскользнула я обратно в палату и, счастливая, уснула. С тех пор я практиковала ночные вылазки почти ежедневно.

Однако возникло некое препятствие: на террасе, которую надо было миновать, по вечерам стали собираться наши вожатые. Они за первые же дни сдружились, зароманились и сидели до позднего часа. Часов, замечу, ни у кого из них не было. Знали: поздно, очень поздно, совсем поздно.

Но выйти было очень уж нужно, и я нашла выход. Он был окно. Спальня наша человек на двадцать, под окном вплотную стоит кровать, на ней девочка со странным именем Юзефа, как потом выяснилось, из семьи польских коммунистов, сбежавших в

свое время в СССР. Она вроде спит. Препятствие. Второе препятствие – высота. Мы не совсем на первом этаже. Но и не совсем на втором. Называется бельэтаж. Высокий первый. Но очень хочется. Я стою возле Юзефиной койки, а она глаза открыла и спрашивает: ты чего?

Я, интеллигентная девочка, говорю: мне по-большому надо.

Она тихо спрашивает: в уборную пойдешь?

– Нет, говорю, в лесок.

– Возьми меня с собой.

– Да я вот и смотрю, нельзя ли в окошко вылезти?

– А в дверь? – спрашивает Юзефа.

– Нет, на террасе вожатые сидят.

В ту ночь я не решилась в окошко вылезти. А на следующую так приспичило, что я выпрыгнула. Обратно влезать оказалось легче, Юзефа руку протянула. Я влезла – она вдруг заплакала:

– Тебе хорошо, а я в уборную не могу войти, а спрыгнуть боюсь…

Прошла неделя, вожатые куда-то ушли, на терраске никого не было, и я повела трясущуюся Юзефу в обжитой лесок. Удивительным образом он оставался чистеньким, несмотря на мои почти ежедневные посещения. Я тогда еще не настолько была увлечена биологией, чтобы понимать, что в природе ничего не пропадает и говно человеческое для чего-то годится…

Усадила я Юзефу под кустик, а она заплакала:

– Так я тоже не могу. Я вообще не могу. Я умру…

Но Юзефа не умерла. За два дня до конца смены она потеряла сознание, и ее увезла «скорая помощь» в Рузскую больницу. Там ей сделали операцию. Выжила. Мне потом папа рассказал, что ее спасли русские врачи от кишечной непроходимости. Такие врачи хорошие!

Но я только подумала – врачи хорошие, а уборные плохие. Но ничего не сказала. Взрослым такое не объяснишь! А вот сейчас мне интересно: а в «Артеке» какие уборные были?

И еще могу сказать, что я как Синявский: только у него с советской властью расхождения были стилистические, а у меня обонятельно-гигиенические.

Ольга Вельчинская. Пионерское лето в прекрасном женском обществе [3]

Последнее дошкольное лето я провела в самом настоящем пионерском лагере. Из-под кровати достали потертый чемодан, между прочим, довольно породистый, купленный в мирные времена у Мюра и Мерилиза (этикетка, подтверждающая его генеалогию, сохранилась на внутренней стороне крышки), осенью 1913 года сопутствовавший дедушке с бабушкой в свадебном итальянском путешествии, побывавший во всех тех местах, где они оказывались на протяжении последующей жизни, а в 1943 году благополучно вернувшийся из эвакуации. И на крышке многое претерпевшего и в процессе жизни опростившегося семейного чемодана папа вывел масляными белилами имя мое и фамилию.

В чемодан уложили купленные по специальному списку совершенно особенные пионерские вещи (каждый предмет старательно подписали чернильным карандашом), и в назначенный день с небольшим опозданием мы явились на сборный пункт, к подъезду маминого института. Оказалось, что всех пионеров уже погрузили в грузовики. Снизу не было видно, ни кто они такие, эти пионеры, ни сколько их там. И меня тоже принялись подсаживать в этот неведомый, полный гвалта кузов. Окоченев от ужаса, я попробовала было вцепиться в борт грузовика, как-то туда вскарабкаться. Безуспешно. И вдруг на фоне сияющего июньского кучевого облака возник ангельский лик.

В ореоле белой панамки, наподобие того, как утреннее светило восходит над горизонтом, над серым деревянным бортом грузовика взошла приветливая физиономия большой девочки в круглых очках и красном галстуке. Девочка гостеприимно улыбалась и протягивала руку, которую я судорожно схватила. И в следующий миг очутилась в кузове. Не замеченная пионерами, затерялась в толпе и успокоилась. Девочка-ангел оказалась дочерью начальницы пионерского лагеря, маминой сослуживицы – доброй красавицы Марии Борисовны. Верочкину доброту я запомнила, и спустя сорок лет очень обрадовалась, обнаружив совсем уже взрослую Веру среди сотрудников солидного литературно-художественного журнала.

Тем первым пионерским летом я впервые узнала, как прекрасно может быть женское сообщество, если не заражено оно микробом недоброжелательного соперничества. Меня, еще

дошкольницу, приняли в свою компанию и взяли под защиту три больших и всеми уважаемых девочки. Суровая сероглазая красавица Оля Никонова стала нашим лидером. Могучая и добрая Лена Миронова – душой компании. А стараниями Ирки Зыриной, смелой и предприимчивой авантюристки, лагерная жизнь стала увлекательной, разнообразной и не лишенной некоторого риска. Я выступала в роли восторженного наблюдателя и восхищенного ученика, изумлялась талантам подруг и впитывала их жизненный опыт. Нет, свою лепту я, конечно, вносила, ведь в запасе у меня имелось множество диковинных историй. Мы с няней моей Аней гуляли в обществе других детей и их нянек в скверике у подножия Института иностранных языков. Бывало, копошусь возле скамейки, на которой плотным рядком сидят тепло закутанные в любую погоду няньки, вроде бы куличи леплю из песка или из снега, а сама слушаю, слушаю, на ус наматываю… По сути, рассказы те были предтечей и живой моделью бразильских сериалов далекого-предалекого будущего, то есть прогулки на «иностранном» скверике оснастили меня бездной сюжетов на всю последующую жизнь. Ну как было при таком бэкграунде избежать амплуа рассказчика? Короче говоря, польза кое-какая от меня была, но мне-то повезло несказанно, потому что с легких детских рук Оли, Лены и Иры во всех возрастных и социальных группах мне всё встречаются и встречаются женщины замечательные – мудрые, могучие, талантливые.

В течение дня жизнь в лагере напоминала дачную, вот только утро начиналось побудкой и пионерской линейкой с поднятием флага на мачте. На прямых, не сгибающихся в коленях ногах пионерские вожаки вышагивали по периметру плаца, резко разворачивались под прямыми углами, с пластикой механических человечков вскидывали руку в пионерском салюте и звонкими голосами людей с кристальной, но и безжалостной совестью о чем-то рапортовали. Боже, как мне нравился этот ритуал!

Счастливец, вызванный из рядов для утреннего поднятия флага, до самого вечера находился в приподнятом настроении. Я страстно мечтала об этом счастье, но, когда звездный час наконец-то настал, то ли от волнения, то ли от смущения не справилась с простейшим устройством, колесиком и шнурком – блоком, посредством которого флаг ежеутренне взвивался в синюю или пасмурную высь.

Вечерняя линейка отличалась от утренней отсутствием пафоса и невообразимым количеством комаров. Небо зудело и звенело, а выстроившееся в каре окровавленное лагерное поголовье извивалось, чесалось, подпрыгивало и хлопало себя по частям тела в дерганых ритмах недалекого будущего. На дворе

пока стояла другая эпоха, и мотивчиком того лета был томительный фокстрот «Я помню, было нам семнадцать лет…», а мне-то до семнадцати было еще жить и жить…

Лагерная униформа – черные, поначалу поблескивавшие крахмалом и красиво топорщащиеся сатиновые шаровары, короткие и пышные – дневные и уютные длинные – для прохладных вечеров, пришлась мне по душе (особенно короткие, они казались мне нарядными и даже торжественными, хотя я тогда не знала, что это самый выразительный элемент мужского костюма эпохи Ренессанса).

Но не все было так уж пасторально, изрядно отравляло жизнь ежедневное мероприятие под названием «мертвый час». Конечно же, мы ни минуты не спали, развлекались как могли, скрашивали два часа пропащего для жизни времени. Молниеносная Ирка Зырина виртуозно ловила мух в полете. В литровой Иркиной банке они жили сотнями. Ирка заботилась о своих мухах, запихивала в банку кусочки подсахаренных блинов, унесенных с полдника, капала из пипетки воду, перевязывала баночную горловину марлей. Отмучившись во время злосчастного часа, мы делали все, что хотели. Разгуливали по окрестностям, обследовали заросшие окопы (а может, это были воронки от бомб), объедались малиной, устроили штаб-квартиру в заброшенной лесной бане, а однажды обнаружили заколоченную колокольню посреди лесного болота, кое-как протиснулись внутрь и по эфемерной лестнице без половины ступенек вскарабкались на самый верх. Во время этого рискованного мероприятия я умирала от страха, но отстать от бесстрашных подруг, остаться одной внизу было еще страшнее. Гуляли мы где хотели, распевали что хотели, возвращались к ужину, и о приключениях наших никто не догадывался. А мы ничего и не боялись, потому что система наказаний в нашем чудесном лагере отсутствовала.

Интереснейшим местом оказалось кладбище за лагерным забором. Лесное, на крутом речном склоне, многоярусное и перенаселенное, с теснящимися, наползающими друг на друга пирамидками и крестами, с тонко позванивающими жестяными венками на сосновых ветвях, таинственное и торжественно-нарядное. К тому же на могилах росла земляника небывалого качества, та самая, которой крупнее и слаще нет. И однажды, в преддверии родительского дня, мы решили набрать этой гигантской земляники для родительского угощения. Взяли синие жестяные ведерки (видно, предполагалось, что младшие пионеры любят лепить куличики из песка) и очень быстро, с полчаса побродив среди могил, наполнили их доверху. А вечером, не

удержавшись, съели ягоды сами.

И ночью в животах наших началось ужасное. Мы корчились от колик и стонали. Палата не спала и с интересом наблюдала за нашими мучениями. Всем было ясно, что мы отравились трупным ядом. Азартно спорили об исходе – совсем смертельном или не очень. Мы плакали и представляли себе, что будет, когда наутро родители наши не застанут нас в живых. Однако все обошлось, к утру мы оклемались, вот только родителям ни одной ягоды не досталось.

Апофеозом каждой из трех пионерских смен становилась военная игра, предтеча «Зарницы». Сюжет игры был прост и актуален – ловили шпиона, похитившего знамя пионерской дружины. Пионеры делились на желтых и голубых (в середине 50-х никакие цвета и никакие сочетания еще не были дискредитированы) и нашивали на плечи соответствующего цвета бумажные погоны. Знамя нужно было найти прежде, чем это сделает противник. Шпион прятал знамя в лесной чаще и для того, чтобы его все-таки нашли, оставлял не только следы, но и прямые указания, где искать. Коварный шпион вырезал стрелы на стволах деревьев, выкладывал их на лесной дороге из коры и сосновых шишек, вырезал в форме стрелы шляпки крупных подберезовиков, короче говоря, дурил пионеров. В процессе поиска следовало собирать вещественные доказательства. Мы приносили в штаб все, что находили в лесу: обрывки газет, бутылки из-под пива, какие-то перезимовавшие под снегом мерзостные клочки подозрительного вида (справедливости ради надо заметить, что в те времена подмосковные леса еще не были загажены так, как нынче, и в заводе не было полиэтилена и прочей синтетики).

Однажды нашли свежий, еще не слипшийся презерватив. Не догадываясь о назначении предмета, но подозревая, что вещь самая что ни на есть мерзостная, шпионская, превозмогая брезгливость, нацепили улику на ветку и несли ее по очереди, отставив руку подальше, и благополучно доставили в штаб. Командиры наши – старший пионервожатый, председатель совета дружины и физрук, ражие румяные хлопцы, – отнеслись к находке несерьезно и от смеха только что со стульев не попадали. Мы же почувствовали себя оскорбленными в патриотических чувствах.

Если в процессе поиска знамени попадался противник, следовало настигнуть его, не миндальничать, а повалить на землю, слегка поколотить и сорвать погоны. Один сорванный погон означал ранение, два – гибель. Игра длилась весь день, вместо обеда выдавали сухой паек, мертвый час отменяли. Целый день ошалевшие дети бегали по лесу и люто ненавидели

противника. Занятие увлекательное, удивительно только, что ничего плохого ни с кем из нас ни разу не приключилось. Знамя к концу дня находилось само, а шпиона некто из штаба доставлял на погранзаставу. Где именно в подмосковных Бронницах располагалась эта погранзастава, так и осталось тайной.

У всех пионеров имелись продовольственные запасы. Раз в неделю из Москвы приезжал грузовичок с передачами. Дети сбивались в кучу у откинутого заднего борта, и некто из кузова зычно выкликал фамилии и раздавал перевязанные бечевкой бумажные пакеты. Не скрою, я завидовала, потому что мне передач не присылали. Пакет с яблоком, калорийной булочкой и помидором папа ежевечерне просовывал сквозь планки лагерного забора, потому что на всякий случай родители снимали угол в соседней деревне Плаксинино. Надзор их был необременителен, фактически незаметен, родители существовали на периферии, и я, как и все остальные, ночами чавкала, жевала и заглатывала содержимое папиного пакета. Ибо трапезы наши были ночными и только ночными, и отдельные везунчики, обладатели сахарного песка в бумажных пакетах, допоздна хрустели им на всю палату. А днем делали заготовки впрок. Популярностью пользовалось лакомство, для приготовления которого требовалось всего лишь: найти на кладбище зеленую бутылку из-под вина, наполнить ее любыми лесными ягодами, засыпать сахарным песком, туго утрамбовать с помощью очищенной от коры палочки, закопать в укромном месте, затаиться и выждать десять дней. Употреблять этот нектар (смешанный с амброзией) следовало при помощи той же палочки, многократно засовывая ее в бутылку и смачно облизывая и обсасывая. У меня не было ни бутылки, ни сахарного песка, так что о таком деликатесе я и не мечтала. И кайфа от всеобщего любимого лакомства – эскимо на палочке, слепленного из куска блестящего вара, не словила, совсем наоборот… Однажды подруги мои обнаружили на задворках пионерского лагеря глыбу вара, сверкавшую на сколах как антрацит. Не откладывая в долгий ящик, принялись отколупывать от глыбы куски, лепить подобие эскимо, и с восторгом лакомство это жевали. Слепили такую штуку и мне, и я с радостной готовностью неофита впилась в псевдо-эскимо зубами. Впилась и – о ужас, разжать челюсти не смогла, увязла в жуткой субстанции. Не знаю, впадает ли в панику бульдог, если не может разжать мертвую свою хватку, но я запаниковала. Спасибо подругам, совместными усилиями челюсти мои кое-как разжали, но ощущение ужаса так никуда и не делось.

То самое первое лагерное лето оказалось исключительно насыщенным и информативным. Разве узнала бы я столько

важного, интересного и полезного на деревенской даче под сенью нянюшки моей Ани? Разве испытала бы прекрасное чувство свободы, открывшееся во время наших прогулок по лесам, полям и опушкам? Разве появились бы у меня такие надежные, искушенные в жизни подруги? Я прибыла в лагерь одним человеком, а покинула его совсем-совсем другим, жаль только, что тем летом завершилось мое дошкольное детство и долгие годы все последующие августы омрачали грядущие сентябри, неотвратимость школьного морока, навсегда отравившего детский организм серой плесенью и мучнистой росой…

Гелия Певзнер. Здесь никого нет [4]

«Каждый ученик… обязан иметь собственный мешок с лямками, на каждого – по мешку»

Саша Соколов, «Школа для дураков»

Самые ранние воспоминания о моих детсадовских дачах – не мои. Мама рассказывала, что когда они с отцом приехали меня навещать, воспитательница сказала: «Заберите ее. Некоторые дети плачут, а она стоит у решетки и смотрит на дорогу. И молчит, не плачет. Заберите». И меня забрали.

Другие воспоминания о том же возрасте – зеркальные. На этот раз они мои, но не обо мне, а о дочери. Мы приехали ее навестить, и нам по блату – так тогда говорили – выдали ее, чтобы мы могли с ней погулять в лесу. А блат заключался в том, что мы обещали потом подбросить воспитательниц до Москвы на машине. На прогулке дочь сказала: «Здесь такой чистый воздух». Ей было три года. Мы приехали на следующей неделе, и она опять повторила: «Здесь такой чистый воздух». Тогда я решила на всякий случай приехать через день. И опять – «здесь такой чистый воздух». А ей три года. В тот же день мы ее от этого воздуха забрали.

Она была очень радушная, открытая девочка, и сейчас такая – последнюю рубашку отдаст. А в тот день, после детсадовской дачи, мы дали ей конфет и сказали: «Угости всех». Она обвела комнату глазами – а там были мы, мой отец и мой брат, еще маленький. И она сказала: «А кого? Здесь никого нет».

ЧЕМОДАН С ЗАЙЦЕМ

А вот эти воспоминания мои и обо мне самой. Поездка в лагерь началась с того, что достали с антресолей мой чемодан. Он был небольшой, горчичного цвета, назывался «желтый». Его заполнили «лагерными» вещами – вещами для лагеря. Серые сандалии в дырочку, вторая пара – первая была у меня на ногах, только коричневая. Серые ботинки на шнурках и резиновые боты, на дождь. Такие сандалии и ботинки мне покупали каждый год в конце лета, на школу. К июню у них были облупленные носки. Ремешок в том месте, где его перегибала застежка, почти

отрывался. Я все детство мечтала о красных ботинках, но отец говорил – «вульгарно», поэтому покупали либо бежевые, либо серые, других не бывало. Бот обычно хватало и на два года, их брали на вырост. Сначала в них неудобно было сгибать ноги, слишком высокие боты терли под коленкой. А потом ноги вырастали, и боты становились – ничего.

Еще в чемодане были любимые шорты, помнящие Коктебель, две пары, и какая-то другая одежда. Шорты надеть удалось только один раз, меня засмеяли, и я больше не решалась. Зато ободранные сандалии напоминали о доме – ведь все царапины появились еще до лагеря. Я их перебирала в памяти, как дорогих друзей.

На чемодане отец нарисовал зайца в профиль. Это был наш общий заяц, отец его здорово рисовал, и меня учил, каждый раз что мы ехали в метро. Обычно он рисовал чертежи лазеров и автопилота для самолетов, это была его специальность. Чтобы ему самому было понятно, он мне объяснял, как они действуют и что в них нового. При этом объяснял, что никому этого нельзя рассказывать. Так что я лет в семь-восемь оказалась носителем секретов советской военной техники, которую он конструировал. Он был гениальный популяризатор, я могу и сейчас рассказать действие автопилота, если кому надо. Но для меня он еще нарисовал и зайца. Зайцев я теперь тоже рисую, когда размышляю или сижу на скучном мероприятии и слушаю ненужное выступление. У меня весь лист в этих зайцах, я умею рисовать только их и парусный корабль. И еще схему автопилота, конечно.

На чемодане заяц был большой, это чтобы сразу найти чемодан, сказал отец. Да такой желтый чемодан разве потеряешь.

БУРНУС И ПАНАМА

Из ценного и личного у меня были фонарик и книга про греческую девочку. Еще мне купили панаму, она мне очень нравилась. До этого у меня панамы почему-то не было, хотя лето я проводила в Крыму. Но когда у меня обгорели уши, отец надел мне на голову мои собственные трусы и сказал, что это бурнус. Ну раз бурнус, а не трусы, то можно ходить. Мы все равно жили как дикари, в палатке, питались сырыми яйцами с хлебом. Такое блюдо называлось тюря. Сказать, что я выгляжу как-то не так, было некому.

Уже только в Феодосии, в день отъезда из Крыма, я поняла, что на меня странно смотрят тетеньки в парке. Отец пошел на вокзал за билетами, а меня оставил на скамейке. У нас был

огромный рюкзак и длинная палка, которую мы несли вместе, он за толстый конец, а я за тонкий хвостик. На палке сушилось наше бельишко. Ну и бурнус на голове. С этим сооружением он меня оставил в парке, а там катаются дети на трехколесных велосипедах, у некоторых даже велосипеды в виде лошадей, с головами. И все дети в носочках. Вот после Феодосии я и поехала в лагерь.

Но я сначала расскажу про панаму. Это было удивительное сооружение. Расстегнешь – плоская. Застегнешь на две пуговицы – трехмерная. Все в ней предусмотрено, и козырек сам собой получался, и сзади две дырки для волос. Крахмальная, новенькая.

В автобусе оказалось, что панамы тоже у всех одинаковые, а не только сандалии.

Чемодан ехал отдельно, его забрали при погружении в автобус. Последний раз я его видела на складе. Он там лежал зажатый между другими чемоданами, как на подбор, коричневыми. Заяц был нарисован возле ручки, так что его хорошо было видно, но он оказался вверх ногами. Боты стояли отдельно, вместе с ботами других детей. Вещи, сказали, будут выдавать по надобности. К ботам нас запускали толпой после дождя, все пары были неотличимы друг от друга, дети кидались искать свои по фамилиям, написанным внутри на голенище, а чужими кидали друг в друга. Фонарик и книгу разрешили взять.

Панама потерялась на второй день.

«А ОДНА ДЕВОЧКА…»

Книга, которая у меня была с собой, называлась «Наш брат Никос». Ее написала греческая коммунистка Алки Зеи, действие происходит во времена установления диктатуры. Рассказ идет от лица девочки, в ее семье есть герои, есть соглашатели и есть дети, которым нужно сделать выбор. Я ее, конечно, уже сто раз прочитала до этого, но перечитывала каждый вечер заново. Она мне была близка не только сюжетом. Главная героиня любит греческие мифы, ей их рассказывает дедушка, ученый. Так что это было как бы две книги в одной. Любимые «Легенды и мифы Древней Греции» я с собой не привезла, боялась потерять, это было такое сокровище. Да что ни читай, главное – это отгораживало от других девочек. В комнате – она называлась «палата» – нас было двадцать или тридцать. А так вроде раскрыл книжку и спрятался.

В фонарике сразу кончились батарейки, но мне было важно его иметь при себе, потому что он был из дома. Ну и вообще, это

ценная вещь, фонарик, может пригодиться при побеге.

Я готовила побег, но все провалилось еще до первой попытки. Хотя я готовилась очень тщательно. Хлеба в столовой давали мало, а есть хотелось, поэтому удалось накопить всего один кусок. Но все равно это был запас продовольствия. Хлеб засох, то есть это был сухарь, как полагалось. Из еды был еще найденный в лесу гриб, который я засолила в баке для дождевой воды. Соли в столовой было сколько хочешь, не то что хлеба. Гриб был всего один и явно несъедобен, но имел ценность личного и неподотчетного объекта. Никакой сумки не было, целлофановых пакетов тогда в СССР еще не изобрели, так что книгу я решила нести в руках, она была легкая. Все остальное рассовалось по карманам.

Главным было выбраться из лагеря и не попасться «деревенским». Деревенскими пугали во время вечерних рассказов в палате. Все страшные вечерние рассказы начинались: «А одна девочка вышла ночью из корпуса и пошла в лес». – «А как она в лес-то вышла, если ворота закрыты?» – в палате были свои скептики. – «Так за туалетами проволока порвана, ты что! И она пошла, а из-за дерева черная-черная рука. А кто не верит, к тому рука ночью придет».

Вот тут было самое время загородиться книжкой, уж очень страшно. Икар на крыльях, которые для него сделал его отец Дедал, начал летать как птица. И однажды он поднялся высоко, почти к самому солнцу. Они же с отцом тоже бежали из плена.

Зато я запомнила про разорванную проволоку. Ограда действительно была повалена за уборными. Через эту дырку я и решила бежать домой, когда лагерь отправится в поход. На заре, когда из мрака выходит юная Эос. Я думала, вот все уйдут, и я улизну. А оказалось, что дырку заделали, потому что территорию готовили к военной игре «Заря». Вот вам и Эос.

ФОТОГРАФИЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

«Заря» – почти то же, что и школьная «Зарница», но в лагере, и заканчивалась межлагерным соревнованием в пионербол. Была такая игра, советский волейбол. А если вы помните «Зарницу», то помните, что это игра в войну, то ли немцы – русские, то ли красные – белые. К «Заре» готовились как к празднику, устроили субботник, вычистили территорию. Ну и сетку починили, где она провалилась. Я даже почувствовала, как с души спала тяжесть, очень уж было страшно идти одной через лес.

Но «Зарница», наверное, было бы более точным названием. Я

эту игру предчувствовала как надвигающуюся бурю. Я представила себя на волейбольной площадке, мяч я все равно не поймаю, и как же все будут смеяться и издеваться. Оставалось только уговорить медсестру дать освобождение. От похода ведь мне удалось открутиться. С помощью вранья. Я сказала, что ко мне должен приехать отец. И меня оставили в корпусе, а все ушли. Я ночевала одна в палате, и это было прекрасно. А днем была тишина, я вырезала красные звезды из бумаги для военного праздника, а в остальном была предоставлена самой себе.

В начале смены нам объявили список «кружков». И я сразу записалась в кружок фотографии. Я уже умела фотографировать, и даже проявляла и печатала с отцом фотографии в ванной при красном свете. Но мне сказали, что в кружок фотографии мне нельзя, потому что он «для мальчиков». Вот тут я лагерь окончательно возненавидела. И косички еще нужно было заплетать. А мне восемь лет, волос – грива, и их расческой не продрать и даже не промыть как следует. Но про волосы я еще потом расскажу.

Потом мне уже было все равно куда идти. И меня записали в вышивание. Ну вышивание так вышивание. Я решила вышить льва. До этого я никогда не вышивала, так что ни гладью, ни крестиком не умела, как другие девочки. Тем более что я была младше всех на два года. А восемь и десять лет – это два разных мира. Меня еще все упрекали, что я не пионерка. На линейках все держат пионерский салют и поднимали по очереди флаг, а я как белая ворона, руки опущены и голова тоже – рассматриваю сандалии, чтобы не видеть собственного позора. Мне казалось, что все на меня смотрят, весь лагерь. И ведь это несмотря на то, что я только что читала о точно такой же фаланге, отдававшей фашистский салют, в моей греческой книжке. Там сестра героини, Мирто, вступает в фашистскую фалангу в школе, потому что можно выступать на праздниках и дают золотые звездочки. И хотя я хотела быть вовсе не Мирто, а Мелиссой – так звали героиню, которая любила мифы, – но мне все равно было страшно обидно, что всем дают поднимать флаг, а мне нет.

«ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО, ИНАЧЕ ВАШИ ПИСЬМА НЕ ОТПРАВИМ»

И вот я вышила льва – просто по контуру, стежками. Мне он очень понравился, это была моя первая в жизни вышивка. И я ее положила в конверт, чтобы отправить маме. Нам разрешали раз в неделю посылать письмо.

А в конце недели пришла воспитательница и вернула мне моего льва. Сказала: «не позорься». Письма читала лагерная администрация, совершенно открыто, не стесняясь. Даже говорили нам: «Пишите красиво, разборчиво, иначе ваши письма не отправим». Никто мне до этого не объяснял, что чужие письма читать нельзя, но в том, что чувствуешь, ошибиться невозможно, и это чувство было унижением. Хотя воспитательница ласково со мной разговаривала и сказала, что мама расстроится, что я так ужасно вышиваю, и что лучше ей льва не посылать. Так что я хранила неотосланного льва под подушкой. В греческой книжке было чучело барса в витрине, у него были два разных глаза – синий и черный, и подпольщики использовали его для передачи информации. Я чувствовала родство моего льва с тем барсом.

Льва было очень трудно спасать под подушкой от чужих взглядов. Потому что каждое утро дежурные по палате проверяли, как застелены кровати. Нужно было без единой морщины. А там пододеяльник со сбившимся одеялом. В общем, у меня не получалось. И у кого постель была плохо застелена, у того все сдергивали и говорили переделать. У меня всегда сдергивали и все сваливали на пол, даже матрас. Но я не очень расстраивалась, я из-за этого опаздывала на утреннюю зарядку.

На зарядке я, понятно, тоже была хуже всех. Но мне нравился физкультурник. Он пел песни, под которые мы должны были выполнять поклоны и приседания, и странно приседал. И у него ритм был не для приседаний. Потом оказалось, что он всегда был пьяный, уже по утрам. Он особенно любил «Степь да степь кругом» выводить. Ну и мы, как березы под ветром, давай гнуться.

На побудку нас будил горн. «Вставай, вставай, дружок, с постели на горшок. Вставай, вставай, штанишки надевай». Вставай, дорогая, говорит Евриклея Пенелопе, Одиссей вернулся, и женихов уже нет в живых! Вот о чем я мечтала! Чтобы разверзлось небо и всех разогнало бы Зевесовым громом. Не обязательно даже зарницей.

Иногда нас водили на речку, во время одного похода я и нашла гриб, который потом засолила в бочке столовской солью. Речка была маленькая, нас купали по очереди. Десять минут мальчики, десять минут девочки. А идти, по-моему, нужно было полчаса, строем. Десять минут! А я только что вернулась с моря, из Крыма. Где мы жили дикарской жизнью и варили вермишель на костре, и где наша палатка стояла прямо в заповеднике на Кара-Даге, а ночью прожекторы пограничников обшаривали горы. И где отец сажал меня на спину, чтобы доплыть в такие бухты, куда мы не могли дойти пешком, а в ближние я и сама уже доплывала, как Одиссей.

Река казалась мне каким-то недоразумением. Рядом с нами купались коровы. И берег тоже был весь в коровьих лепешках, дети называли их «мины» и специально толкались, чтобы кто-нибудь угодил в еще свежую «мину».

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ

Но немножко хорошего все-таки было и в лагерях. Замечательные воспоминания у меня остались о больнице. Это было не в ту смену, о которой я рассказываю, а за год до этого. Тогда я была в лагере в самый первый раз. Мне только исполнилось семь, и я ничего, кроме отчаяния в первый день, не помню. Зато смена оказалась короткой, я сразу заболела ангиной, и меня забрали в изолятор. Когда прошла ангина, начался стоматит, в столовой давали горячий цикориевый кофе, и от него с неба слезла вся кожа. А за стоматитом – снова ангина. Я об этом потому так подробно рассказываю, потому что из того лагеря у мамы сохранилось мое письмо.

После второй ангины меня сразу забрали. Но до этого я успела полежать в изоляторе, и там было прекрасно. В палате я была одна – в начале смены еще никто не успел заболеть. И доктор был чудесный – он мне подарил мозаику, причем насовсем, я ее забрала с собой, когда уезжала, и она еще долго у меня жила. Окно в палате открывалось на огромную елку, кроме нее ничего не было видно. А за елкой какой-то отряд из больших детей целыми днями разучивал песню. Она мне тоже очень нравилась, там пели «Гори, огонь, как Прометей, гори, огонь, как Прометей, и для людей ты не жалей огня-а-а-а-а души своей!»

Я очень радовалась, что песня про Прометея, это был один из моих любимых героев, мятежник. Я особенно любила сцену, когда Гефест, который был его лучшим другом, приходит его приковывать к скале и плачет, но не смеет ослушаться Зевса. Я только удивлялась, откуда взялось это «гори», ведь Прометея не жгли огнем, ему орел выклевывал печень. Недавно я попыталась найти эту песню в Гугле, и оказалось, что она очень известная, только там, конечно, не «гори», а «дари огонь», но я так слышала, и гори все синим пламенем.

И вот из-за этого предыдущего удачного опыта изолятора я и решила пойти к врачу и попросить освободить меня от «Зари». Но попытка не удалась, избежать участия в игре оказалось невозможно. Настал день, и нас всех вызвали на плац.

«НЕ ЧЕШИСЬ В СТРОЮ»

А дальше мне снова ужасно повезло. До сих пор меня высмеивали за то, что я в отряде младше всех на два года, а тут это сыграло мне добрую службу. Врач, которая заставила меня все же пойти на этот праздник военного духа, оказалась не совсем извергом. По ее повелению мне досталась роль раненой колхозницы. На мне нарисовали кровавые раны и дали мне в руки записку, в которой было написано, в чем именно заключается мое ранение и как мне нужно оказывать первую помощь. Другим детям, постарше, досталась роль санитаров. Какие еще были роли, не знаю, но у меня была лучшая. Меня предупредили, что санитарам нельзя показывать записку. Они должны были сами догадаться, где и какое ранение, и быстро меня вылечить.

Потом меня отвели в поле и закопали в стог сена. По сценарию выходило, что на покосе мирную колхозницу накрыл в поле вражеский авианалет. Можно сказать, ее подкосило. Оставшиеся полдня где-то сипели горны, носились отряды, а я лежала в стогу, смотрела в голубое небо и думала о черных полковниках и храбрых детях, помогавших подпольщикам. Так и уснула.

Меня разбудили оголтелые санитары, которым я тут же выдала записку с разгадкой, чтобы они прекратили меня тормошить. Возбужденные близостью победы – благодаря полученной записке они опережали другую команду, – санитары понесли меня на носилках в штаб. По дороге трясло, зато не приходилось за всеми поспешать, я всегда бегала медленнее всех. Нашей команде досталось почетное право поднять флаг. «Не чешись в строю», – шипел на меня вожатый отряда. За шиворотом очень чесалось сено, и не только оно.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

О побеге я больше не думала. Сбежали две другие девочки, их поймали, стыдили перед строем, вызывали родителей. Мне стало ужасно жалко маму, которая расстроилась бы. Тем более что приближался родительский день.

Наконец он наступил. Родителям выдали их детей, мамы развернули и расстелили на полянке возле лагеря покрывала. Каждая семья уселась отдельно, дети принялись поедать привезенные конфеты и печенье. К родительскому дню я подготовилась. Не помню кто объяснил мне, что если две суповые ложки из столовой потереть друг о друга выпуклыми сторонами, то на них образуется окись серого цвета. Если эту окись удачно размазать по руке или ноге, пятно не отличить от настоящего

синяка. До приезда мамы я нарисовала несколько правдоподобных синяков и торжественно объяснила, что в лагере меня бьют.

Мама в ужасе поволокла меня к директору. Им оказался тот самый пьяный по утрам физкультурник. В этот день он был трезв. Физкультурник послюнил палец, провел по моему «синяку» и молча показал маме. Мама покраснела, и явно не от стыда, а от злости на меня.

Понимая, что из лагеря меня теперь не заберут, я прибегла к последнему аргументу. Это была ничтожная, совершенно недостойная отъезда из лагеря проблема, но мне нужно было сказать хоть что-то, чтобы избежать хотя бы наказания за вранье. «Мама, у меня вши!» – закричала я. Я ни на что не надеялась: если из-за вшей домой отправлять, так нужно было весь лагерь распустить. В строю чесалась не я одна, но и настоящие пионеры.

Через полчаса передо мной стоял желтый чемодан с зайцем. Вечером родители намазали мне голову керосином, потом к нам неожиданно пришли гости, и пока они снимали в прихожей мокрые от дождя туфли и проходили в комнату, меня с моими постыдными вшами и керосином затолкали в ванную. Там меня немножко забыли, пока я не начала отчаянно кричать – керосин страшно жегся.

Боты мы забыли в лагере, куда я больше никогда не ездила.

Гриша Брускин. Как в кино [5]

Помню, кричу в плену пеленок. Не могу пошевелиться…

Помню наши детские кровати вдоль стен. Ночной горшок посередине…

Помню милую мою, добрую бабушку Любу. С заклеенным бумагой стеклом в очках. Читающую «Джен Эйр» при свете настольной лампы…

Помню огромные сосны на даче в Удельной. Бешеную собаку. Ландыши у забора. И пронзительный крик: «Марик утонул!»…

Помню высокую температуру… Ужас неведомой планеты…

Помню холод раскаленного огня, завернутого в мокрую газету. И мамин голос: «Потерпи еще…»

Помню уточку с изюмом вместо глаз. Плывет себе на полке…

Помню лошадиный череп, обглоданный людоедом, на страшной тропинке в лесу…

Помню, как Синяя рука осторожно шевелит угол оконной занавески…

Помню взгляд блестящих бусинок. В кромешной тьме дупла…

Помню волчьи ягоды. Страх превратиться в волка…

Помню грозу на даче. Отверстие в стекле. Шар огненный плывет, меня не замечая…

Помню старого знакомого. Полускелет-получеловек. Выглядывает из трещин кафеля в уборной…

Помню себя с родителями в ложе «Колизея». Забыв на свете все, смотрю трофейного «Багдадского вора»…

Помню, конечно, чудную елку с пятиконечной звездой из мишуры на макушке. Мерцают в ветках дирижабли. Челюскинцы качаются на ватной льдине…

Помню усилие, чтоб удержаться в воздухе. И не упасть на землю…

Помню молодого Йоську с гвардейским значком на гимнастерке…

Помню дяденьку без ног. Катится на дощечке с колесиками…

Помню первый «чнег» за окном. Деревянную саблю, покрашенную серебряной краской…

Помню перламутровые цветы и бабочку на дедушкином портсигаре…

Помню, блестят монетки на мокром полу в гастрономе. В руке кулек. А в нем «Кавказские». Сто грамм – семь штук…

Помню няню. Ее отца-истопника. Живут в котельной под землей. Мне жалко их и завидно одновременно…

Помню, вот я лечу на самокате. Под горку. Не могу

остановиться…

Помню тайник под грудой чистого белья. В нем папин кортик…

Помню стеклянные глаза лисы на воротнике пальто в прихожей. И бисерный пейзаж…

Помню шинель на вешалке. Я невидимкой спрятался внутри. Меня все ищут…

Помню волшебные карточки, раскрашенные анилиновыми красками, на крышке Нюркиного чемодана…

Помню гнев и слезы. Хочу сказать и не могу. Я нем…

Помню Бога в ночном небе над городом в кресте прожекторов…

Помню сумерки. Следы шпиона на снегу…

Помню скверную погоду. Табличку «Люди». Солдаты в кузове трехтонки…

Помню загадочную Сидрую козу. Ложку английской соли. Клад под стеклом. «Граф Монте-Кристо» перед сном. В награду…

Помню цокот по булыжной мостовой. Подводу с бочками. А в них капуста-огурцы…

Помню темное утро. Сугробы. И в тишине лопата дворника скребет тротуар…

Помню мой день рождения. Я вроде сплю. И чувствую таинственный подарок под подушкой…

Помню запах корицы сквозь сон. Праздничную еду на гранитном подоконнике. И я от хрена плачу…

Помню, как убегали мы с сестрой из дома на трамвае, решив, что неродные дети…

Помню, думал: «Вот как умру! Родители и пожалеют!»…

Помню, как отворачивался к стене, когда сестра или мама мыли меня в ванне…

Помню, какими уродами казались голые дядьки в бане…

Помню, как сестра пряталась от меня во дворе с подружкой Наташкой. Предательница!..

Помню: «Ты только не обижайся, но твой брат на еврея очень похож»…

Помню первую затяжку у ограды парка. И плавленый сырок…

Помню пионерский лагерь. Родители коварно бросили меня. Я меньше всех, слабее всех. Мальчишки писают в мою кровать. Подлец Миронов караулит, не дает прохода…

Помню баяниста. Играет «Маленький цветок» и курит. Танцы. В костюме зайчика я взрослой девочке по грудь…

Помню родительский день. Поляну. Узелок с едой…

Помню в окне круглые здания газового завода, изрыгающие адское пламя в небо. Бешено вертящийся пропеллер на вышке

шараги ЦАГИ…

Помню прогорклый запах в парке. И призрака в противогазе…

Помню, как звали марки в дальние края…

Помню зимой, на морозе, вкус серого хлеба, помазанного сливочным маслом и густо посыпанного сахаром…

Помню: «Кремлевские звезды над нами горят…» Дальше не помню…

Помню, во втором классе никак не мог решить, в какую девочку влюбиться…

Помню, как со страху первым ударил Измаила промеж глаз, и он упал в нокауте…

Помню портрет в траурной рамке в журнале «Пионер».

Еще что помню?

Помню,
как
искрометно
промелькнула
мозаика
всей
моей
детской
жизни,
когда
я
падал
в
обморок
в
кабинете
у
врача
во
время
рентгена.
Я
еще
успел
подумать:
«Как
в
кино».

Москва, 2001 г.

Впервые текст опубликован в журнале «Знамя» *(2001. № 5)*.

Мария Альтерман. Воскресенск [6]

Эта история началась едва ли не мистически – родители купили нам с братом путевки в языковой лагерь в Подмосковье, но, когда мы приехали на место сбора, автобуса не было. Возможно, мы опоздали или приехали не туда. Не помню, звонили ли родители тем, у кого покупали путевки, но мы нашли товарища по несчастью – мальчика Диму. У мамы Димы была машина, она предложила нашим родителям отвезти нас за компанию, и они радостно согласились, отчалив домой.

Ехать было долго, и по дороге мы с Димой стали лучшими друзьями. Ему было 12, мне 11, а брату 9. Через пару часов езды по трассам мы приехали в пионерлагерь под Воскресенском. Он назывался «Дубравушка», как и международный языковой лагерь под Обнинском, куда родители купили путевки. Я не знаю, как мама Димы уговорила администрацию лагеря взять детей без путевок.

Нас немедленно по прибытии окрестили «детьми из Москвы» и распределили в один отряд – четвертый, где всем было по 10 лет. Все дети в нашем отряде, кроме нас и еще одной девочки из Люберец, были из Воскресенска и окрестных сел и поселков городского типа. Родители подавляющего большинства не купили путевки, а получили их на заводе, где работали. И потому главным объединяющим фактором для детей была нелюбовь к тем, кто попал в более престижный лагерь «Химик» – путевки туда давали детям инженеров, работников администрации завода и отличникам. Любимой темой для разговоров были многочисленные прелести «Химика»: поговаривали, что там есть бассейн.

Как только Димина мама скрылась из виду, Дима перестал быть нашим другом. Он поспешил стать главным среди гопников. Мы же не знали слова «гопник», не знали, где находится Воскресенск, и впервые в жизни столкнулись с тем, как простые русские люди относятся к москвичам. Москвичами мы на тот момент были ровно год.

Тем не менее провинциалами мы тоже не были, по крайней мере, понятия не имели, как живут простые русские дети, родители которых работают на заводе. Другим у них было решительно все, от зубных щеток и одежды, до снов и форм досуга. Например, одна из соседок, увидев мой шампунь в душе, сказала: «Ничего себе! Как в рекламе!» Ее шампунь был не как в рекламе, и я вообще такого никогда не видела в продаже – он был не в пластиковой бутылке, а в металлическом тюбике, и

назывался, кажется, «Морской бриз».

Меня поселили в комнату рядом с вожатыми, где было три девчонки из Воскресенска и одна – из Люберец. С ней у меня было хоть что-то общее, с остальными оказалось непросто. Они боялись, что ночью придет маньяк и убьет их, ведь мы на первом этаже. Одной из них приснилось, что к нам приехал Путин и дал ей миллион рублей «на мороженое». У них была целая куча необъяснимых предрассудков и некоторые нормы, которые я не могла понять, как ни старалась, но в целом мы жили мирно.

Не могу сказать того же о мальчишках, к которым подселили моего брата и Диму. Я не особо обращала на них внимание, пока примерно на третий день они не позвали меня общаться в одну из мальчиковых комнат – я, естественно, пошла. Мы поговорили о чем-то, и в целом они мне нравились, пока один не сказал: «А давайте ее изнасилуем?»

Парни стали ржать, а я заявила несогласие. Я не испугалась, эта идея просто показалась мне дурацкой. Они налетели на меня вшестером и стянули вниз юбку вместе с трусами, но сразу после этого растерялись и застыли. Секунды через три неловкого молчания я натянула юбку обратно и ушла в молчаливом возмущении, но не стала ничего говорить вожатым. Мне казалось, пацаны слишком маленькие, чтобы насиловать, и это просто нелепая игра.

На следующий день подруга из Люберец стала всем говорить, что я сплю со всеми парнями из отряда, кроме брата и Димы, о чем каждый из них рассказал девчонкам в деталях и подробностях. Девчонки, конечно, не поверили, да и я все отрицала. Вскоре эти ребята начали меня лапать и гонять. Я убегала от них. Один раз они пришли в нашу комнату, где я была одна, и мне пришлось сначала выскочить в окно, а потом долго убегать от них через пролесок. В тот раз я впервые испугалась и решила сказать вожатым.

Вожатые были довольно странными людьми. Они забрали наш с братом мобильник на зарядку, а потом не возвращали его, «чтобы никто не украл». Им не особо хотелось работать, но они не были злыми, хотя я часто слышала от них: «Эти москвичи!» Где-то через неделю мне захотелось объяснить, что это ошибка и мы не такие уж и москвичи, но было уже поздно.

Впрочем, на новость о том, что шестеро мальчиков из отряда обещали меня изнасиловать и периодически предпринимают какие-то попытки, вожатые отреагировали жестко – собрали всех в одной комнате, устроили нам очную ставку, вычислили зачинщика и довели его до слез. После этого меня оставили в покое.

Зато проблемы начались у брата – он был самым младшим и не отличался повышенными навыками адаптации. Подозреваю, что главарь гопников Дима не продешевил, продавая его доверие за авторитет у местных.

Если «изнасилование», при всей мерзости этой идеи, от начала и до конца было ролевой игрой, где даже у жертвы всегда было достаточно пространства для маневра, то моего брата подвергали настоящей травле – облегченной и упрощенной копией того, что ожидает простого русского человека в армии и тюрьме. Но я тогда не знала об этих вещах и не интересовалась жизнью брата.

Травля стала очевидной после лагерной спартакиады. Мы с братом не были особенно спортивными, в нашей семье главным развлечением для всех возрастных групп было чтение. Мне, девочке, вожатые сразу сказали «не хочешь – не участвуй». У брата же не было выбора – не знаю точно, что случилось во время эстафеты (забега по лесу с препятствиями, отжиманиями и еще чем-то армейским), но мальчишки сообщили нам, что мой брат подвел весь отряд.

Я решила с ним поговорить. Скорее из любопытства, потому что парни отказались что-то объяснять. Дима говорил за всех и был по-спартански лаконичен: мой брат слабак и всех подвел.

Я долго искала брата по всему лагерю, но не нашла. Спросила его соседей по комнате, где он.

«Мы его отпиздили и сидим на его кровати!» – радостно ответили они. Это был первый раз, когда я ощутила нечто вроде родственного чувства по отношению к брату. Я заорала. Я орала на пацанов, чтобы они немедленно слезли с его кровати, и если я узнаю, что кто-то из них хоть пальцем его тронул, он будет иметь дело со мной. Они повскакивали и засуетились, извинились и даже согласились помочь его найти.

Мы нашли его где-то в перелеске, заплаканного. Он не хотел со мной разговаривать – ему и в голову не могло прийти, что я за него только что заступилась. Я и правда раньше никогда так не делала, я привыкла, что взрослые защищают его от меня, старшей, другие дети прежде никогда не казались мне угрозой. Из состоявшегося между нами разговора я поняла, что брат не видел проблемы в других, он злился на себя, потому что он такой слабак и всех подвел.

Вскоре мальчишки из комнаты Димы начали отжимать у него вещи. Могли «взять примерить» часы, чтобы через секунду сообщить, что не собираются их возвращать. И у него и у меня украли много всего – комнаты не закрывались. Брата к тому же активно не любили и дразнили, а он страдал. Ему было плохо.

Однажды ночью он проснулся от тошноты, побежал в туалет, но не добежал и наблевал в коридоре – всему отряду устроили выволочку, и все сразу подумали на брата. Я была готова его защищать, но он сам мне признался, что это он. Потом кто-то нагадил под их окном, и еще три дня по отряду ходили сплетни, будто и это сделал мой брат – естественно, ночью, из окна. И еще масса подробностей, даже сложные версии мотивов. Эту историю мы забрали домой – она научила нас смеяться над всеми непонятными сообществами простых людей, да и над собой тоже. «Насрал из окна» – это лучшее, самое абсурдное и бессмысленное обвинение, с которым совершенно невозможно спорить, да и незачем – но все-таки подруга из Люберец доказывала мне, что мой брат это сделал, она даже специально привела меня к куче под их окном. «Вот! Он это сделал! Вожатый из седьмого отряда шел мимо ночью и ясно видел, что это он!»

Правда, смешно мне стало только в Москве.

Первая смена длилась три недели, и на выходных родители могли нас проведать. В первые пять дней ничего особенно страшного еще не происходило, игры в изнасилование были пока просто догонялками без зажимания по углам, Дима еще зарабатывал социальный капитал, а мой брат был просто младшим и недотепой. Мне, по крайней мере, казалось, что так ему и надо. Поэтому в первый визит родителей мы старались сгладить неприятные моменты и всячески демонстрировали, что абсолютно всем довольны.

Вторая неделя была адом. Лагерная еда и дежурства в столовой перестали быть приключением и превратились в сплошное испытание. Конфликты в отряде обострились после визита родителей: они привезли нам каких-то вещей и вкусной еды, но угостить весь отряд нам, конечно, не удалось, что закрепило за нами с братом славу «москвичей». Мама Димы в тот раз не приехала.

С родителями мы созванивались редко, телефон был в комнате вожатых. Не помню, что конкретно меня дожало, но в какой-то момент я поняла, что нам с братом надо срочно сваливать. Ходили слухи, что двое ребят из другого отряда сбежали после спартакиады, чтобы через лес добраться домой в Воскресенск, но их поймали и исключили из лагеря. Сбежать в Москву через лес со всеми вещами не казалось мне реальной идеей, но в безвыходном состоянии все средства хороши. Я пошла к вожатым и сказала, что мне нужен мой телефон, потому что мне срочно нужно поговорить с родителями.

Вожатые сказали, что не знают, где мой телефон, но я могу позвонить из кабинета директора лагеря. Я пошла туда, но меня

не пустили, а узнав, что мне нужно поговорить с родителями и что вообще-то у меня был свой мобильный, но вожатые его потеряли, женщина из администрации пошла в наш корпус разбираться.

Телефон сразу нашелся. На балансе было денег ровно на полторы эсэмэски. Я написала маме: «Заберите нас отсюда, пожалуйста! Нам здесь очень плохо!»

Мама ответила не сразу, и я не могла послать ей еще одно сообщение или перезвонить, потому что денег на счету не оставалось. Она приехала на следующий день, думая, что мы просто канючим вдали от дома. И тогда мы все рассказали – и про тошноту от местной еды, и про то, что меня пытались изнасиловать шестеро, и про то, что дозвониться до нас она не могла потому, что вожатые снова забрали телефон и не возвращали, а сами позвонить мы не могли потому, что они проговорили все деньги.

Мама поговорила с вожатыми и дипломатично объяснила им, что мы сейчас просто уезжаем. Собирая вещи, она подсчитывала убытки – у нас очень много всего украли, и ее возмущало спокойствие вожатых, которые, правда, сразу отдали ей наш мобильный, но излучали невинность и спокойствие. Для нее происходящее было шоком и ударом – она вдруг поняла, в какой ад мы попали по воле их с отцом благого намерения отправить нас в языковой лагерь.

Обратно мы ехали на электричке. Я пыталась шутить и воспринимать все произошедшее как безумное приключение. Брат был угрюм. Мама говорила «нет, нет, это кошмар, как я только допустила». Дома нам радовался любимый пес и обнимал обеспокоенный отец, который тоже с трудом мог поверить – сам он избежал пионерских лагерей и всегда завидовал маминым развеселым поездкам в «Артек». А тут такое. Ну как так.

Еще я помню, что по возвращении мама кормила нас овощным супом. В нем было очень много сельдерея, а я ненавижу сельдерей. Помню, как было невкусно и неприятно, но я ощущала, насколько мне просто после лагеря проглотить буквально что угодно.

Дети в лагере разговаривали исключительно матом, но без выдумки. Мы тогда знали все эти слова, но еще не слышали, чтобы родители при нас матерились. Мне потребовалось дня три, чтобы снова научиться выражать мысли без мата. С тех пор я стала воспринимать брата как союзника перед лицом всего остального человечества.

Я не считала родителей виноватыми в произошедшем, потому что они вызволили нас по первому требованию. Брат тоже

не особо их винил, но его травмировала эта поездка, так что любые разговоры о ней вызывали в родителях чувство вины. Весь учебный год одноклассники недолюбливали нас за то, что мы приехали из другого города, но фактически мы уже были москвичами, и лагерь позволил нам это почувствовать.

Воскресенск стал в нашей семье именем нарицательным, теперь родителям было проще ответить на вопросы о том, кто голосует за Путина, много ли в России бедных и к какому социальному классу мы принадлежим. У этой медали было две стороны, и одна из них – это привычка помнить о том, что как бы трудно нам ни приходилось, подавляющему большинству повезло гораздо меньше. Мы – «москвичи», и у нас всё «как в рекламе», которую снимают в Москве. Возможно, наша реальная жизнь не показалась бы соседям по комнате такой уж роскошной, ведь у нас даже не было машины, но в целом они же мне указали на разницу – по сравнению со мной они жили «просто».

Все же эта история сделала меня мизантропом и даже русофобом. Зная, что с «простыми людьми» всегда можно более-менее договориться, я уже больше не ждала от них ничего хорошего и не удивлялась никакому совку, так естественно растущему в ровесниках, не читающих книг и готовящихся к армии. Я раз и навсегда убедилась, что в этом мире есть густонаселенные места, в которых у меня никогда не будет друзей. Мало того, в таких социумах человеческая личность не стоит на первом месте, и по моим меркам друзей там нет практически ни у кого. Я потом долго старалась быть непохожей на них. Я возненавидела так называемый «московский акцент», присущий жителям Воскресенска.

Записав эту историю, я дала брату ее прочитать, может быть, что-то исправить, добавить или уточнить. Попросила его подробно поделиться со мной воспоминаниями. Он честно прочитал, внеся пару-тройку фактических уточнений, а потом сказал, что не хочет даже мысленно возвращаться в это время и место, никогда не хочет об этом думать и вспоминать.

Алена Солнцева. Травма социализации [7]

Я росла одиноким ребенком среди взрослых и больше всего на свете хотела попасть в компанию сверстников.

Когда мне исполнилось шесть лет, возник разговор про детский сад. Предложила меня туда отдать наш педиатр из детской поликлиники Наталья Семеновна, которую мои заботливые дедушка и бабушка приглашали к нам домой, угощали чаем и вообще всячески ухаживали. Я очень плохо ела, была худая и бледная – теперь-то я знаю, что у меня были проблемы с поджелудочной, с недостатком ферментов. А тогда доктор посоветовала верное средство: детский коллектив. Дескать, пусть ребенок пойдет в детский сад и там, глядя на других, сам начнет есть, как бы за компанию. Может быть, Наталья Семеновна подозревала, что дома меня слишком балуют, и хотела погрузить изнеженное дитя в спартанскую обстановку? Или она действительно верила в предписания государственного здравоохранения, рекомендовавшего детям твердый распорядок дня и сбалансированную пищу?

Мой дедушка верил специалистам, поэтому идею приняли в разработку. Дедушка был старым большевиком «с дореволюционным стажем», по профессии авиаконструктор, то есть техника и прогресс были для него главной ценностью, так что мысль о здоровом влиянии коллектива, пусть и детского, ему была близка. И он нашел для меня экспериментальный детский сад.

Дело было в начале 60-х, в пору социального оптимизма и возвращения к общественной инициативе, а впрочем, может быть, это были как раз последние остатки старого дореволюционного еще духа, но одна очень пожилая дама из общественных активисток района организовала детский сад «на общественных началах». Нашли подвальный этаж, оборудовали его, наняли повариху, уборщицу, а в качестве воспитательниц выступали студентки педагогического института, это у них было вроде практики. Воспитательницы все время менялись, но они были молодые и иногда симпатичные, играли с нами в самолет и стюардесс: кто-то из детей сидел на стульях, как в самолетных креслах, а другие разносили им воображаемые леденцы «Взлетные».

В этом детском саду была всего одна общая группа и три комнаты: спальня, игровая и столовая. Еще туалет с горшками, куда ходили писать все разом – перед дневным сном, перед прогулкой.

И тут выяснилось, что при всем моем стремлении к коллективу, к общению я не умею жить в обществе. То есть я старалась: в первый же день, в полном соответствии с ожиданиями, на обед съела полную тарелку молочной лапши, и даже вылизала ее, пустую, чтобы подчеркнуть свою готовность к достижениям. Но это был первый и последний мой подвиг.

Есть столовскую еду мне не понравилось так же, как и домашнюю. Во-первых, было невкусно, во-вторых – нервно. Но меня не заставляли, не мучили, не было никакого насилия, и вообще, кроме собственного разочарования в волшебной силе детского сада, не помню никаких последствий – как и дома, я просто долго-долго сижу над едой, пока надо мной не сжалятся и не заберут ее.

Мучения были и с тихим часом. Всех нас, раздетых до трусов и маек, укладывали в спальне на раскладушки, руки велели класть сверху на одеяло, глаза – закрывать и не разговаривать. Закрыть глаза не удавалось. Помню, как мы с соседкой крутили на нитке пуговицы – видимо, оторванные от наволочек. Подходила воспитательница, отнимала игрушку, но мы снова выдергивали нитки из простыней, вдевали их в пуговицы и снова раскручивали – хоть какое-то развлечение. Многие дети, впрочем, засыпали, но мне так и не удалось. Однажды дедушка должен был забрать меня пораньше, во время дневного сна, и мне тогда постелили отдельно, в игровой комнате. Оставшись в тишине и одиночестве, я ненадолго заснула, в первый и в последний раз.

Но хуже всего получилось с другой потребностью. Выяснилось, что в коллективе я не могу не только есть, спать, но и писать. Пока все мои сверстники дружно опорожняли свои мочевые пузыри в маленькие, стоящие рядом горшки, я тщетно тужилась, но не могла выдавить из себя ни капли. Кончилось тем, что мне разрешили пользоваться взрослым туалетом для сотрудников, и я – единственная – ходила туда когда хотела, запиралась на задвижку и там наслаждалась одиночеством и приватностью. Я до сих пор помню этот туалет, и эту задвижку, масляной краской заляпанную, – знак индивидуальной свободы, – и, между прочим, свою первую привилегию.

Больше ничего особенного про этот детский сад я не помню: ни радостей, ни ужасов. Только утренние вставания в зимней темноте, полные нервного напряжения, почему-то всегда болело, саднило горло – потом проходило, пока мы с дедом шли темными улицами по заснеженному городу в «садик». Кажется, ранней весной меня оттуда забрали на дачу, на «свежий воздух», что считалось для здоровья еще полезней, чем коллектив.

Школа тоже начиналась очень рано, поэтому первые часы –

пока за окнами еще темнеет, а потом синеет улица – давались с трудом. Дальше было легче. В школе появились подруги. Учительница, с которой дедушка тоже дружил, меня много хвалила. Неприятны были завтраки: их приносили в класс на подносах, и мы, вытащив специально для этого принесенные из дома салфетки, их ели. Давали кусочки хлеба – половину ломтя большого серого батона за 28 копеек, кисловатого, пахнущего дрожжами, и сладкие творожные сырки. Или сосиску – сероватую, в прилипшем целлофане, холодную. Или песочный коржик – с очевидным привкусом соды. Никакого чая, кофе или сока, которыми можно было все это запить, не полагалось. Сосиски есть я не могла, но честно давилась сырком – до сих пор мгновенно вспоминаю тошноту, которую при этом испытывала…

Однако все эти, бесспорно, неприятные физиологические ощущения не убили во мне мечту о самостоятельной жизни вне дома в большом коллективе ровесников. Где меня, конечно же, ждут верная дружба, первая любовь и вообще все те прекрасные вещи, которые описывают в повестях для школьников среднего возраста из детской библиотеки, где мне, как образцовой читательнице, позволяют брать книги для более старших возрастных групп.

И вот в пятом классе я впервые в жизни уезжаю в пионерский лагерь. В Москву вернулась моя мама, мы живем вместе, и с ее разрешения мне достали путевку на зимнюю смену, десять дней, в подмосковный лагерь для детей служащих КГБ (там работала переводчиком моя родственница). Собираясь в лагерь, я по совету мамы взяла минимум вещей – одну юбку, два свитера, рейтузы, все уместилось в желтую дерматиновую сумку, на которой мама шариковой ручкой написала «Солнцева Лена».

Потная от волнения, я как-то доехала до лагеря (ничего про это не помню) и очутилась в комнате на пятерых девочек. Успела занять кровать у окна и стала ждать чудес.

Но ничего из тех приключений, на которые я рассчитывала, вернее, про которые я вычитала в книгах, не случалось. Соседки у меня были не очень интересные, а одна и вовсе противная, мы с ней ссорились, она меня дразнила, и я, разозлившись, кинула в нее книгой «Дети капитана Гранта», довольно толстой, и даже попала краешком ей в голову. Был крик, жалобы, но соседки по комнате свидетельствовали, что начала не я, так что меня не наказали и даже, напротив, жалели как жертву.

И тут же мне предложили перейти в другую палату, предложили знакомые девочки. С ними я так познакомилась: в этом лагере для старших детей устраивали танцы. Младших тоже пускали, однако почему-то никто туда не ходил. А я пошла.

Не помню, что я там делала, танцевала ли, как и с кем – все это не осталось в памяти. Но зато хорошо помню, что у меня была проблема с тем, что надеть. Ведь из одежды у меня была одна юбка. Складки на ней от постоянной носки разошлись, подол висел, в общем, никакой нарядности.

И тут мои соотрядницы, которые сами на танцы ходить стеснялись, но воспринимали их как волнующее приключение, были готовы снарядить туда меня как бы своим представителем. И уже через меня пережить это событие всем коллективом. Вот подходит время танцев, меня зовут, я вхожу – и вижу разложенную на кровати юбку: точную копию моей, только другого, коричневого цвета. Разочарование было так велико! Я-то надеялась если не на волшебный золушкин наряд, то хотя бы на нечто модное и взрослое! Невозможно было обмануть ожидания девиц, и я напялила эту дурацкую коричневую юбку со своим салатовым свитером и так пошла на танцы.

После нашей ссоры с моей противной соседкой мои благодетельницы с большим сочувствием предложили свободное место в своей комнате, куда более населенной, там помещалось человек десять. И я была так им признательна за поддержку, что тут же перетащила свою сумку, и мы чудесно провели вечер и ночь, болтая о разных интересных вещах. И в знак благодарности и ощущения себя частью этой новой компании я на следующее утро написала на подоконнике наши имена – в столбик, вместе.

Это и стало причиной моего краха.

Начать с того, что по каким-то теперь не очень мне понятным соображениям, приехав в лагерь, я назвалась чужим именем. Сказала, что меня зовут Оля, Оля Солнцева, а на сумке написано имя моей сестры Лены. Таким образом я соврала дважды, ни сестры у меня не было, ни красивого имени. Дома звали меня Аленкой, а к официальной форме моего имени отношение у меня было как у Тома Сойера, помните, он говорил Бекки: «Не зовите меня Томасом, меня так называют, когда хотят высечь». Леной меня звали в поликлинике, в школе на уроках, в больнице, где я лежала с подозрением на аппендицит, и в других малоприятных местах.

Имя Оля мне казалось куда красивей. Тем более я тогда прочла детскую книжку «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле», и хотя никакого Коли поблизости не было, быть Олей приятно волновало. И ведь я ни разу не ошиблась, отзывалась на Олю исправно. И только скрепив наподоконничной надписью нашу взаимную общность, то ли от полноты чувств, то ли в приступе честности, я подписалась настоящим именем. Соседки по палате немедленно обратили внимание на надпись и в первую очередь

осудили меня за порчу подоконника. «Теперь он испорчен, и надо будет его мыть», – так строго отчитывали меня те, кто недавно так мною восхищался и так утешал.

Но потом одна из них обратила внимание на список имен и спросила, что это за Лена, откуда. И я малодушно призналась, что на самом деле меня так зовут. Осуждение стало тотальным. «Ты нам наврала», – приговорили соседки, ужасно сокрушаясь о таком преступлении и глядя на меня с полным презрением. Я пыталась оправдаться, лепетала что-то насчет того, что дома мама зовет меня Олей, и я к этому привыкла, но все было тщетно, вранье и оправдание слились в одно стыдное чувство.

Я до сих пор помню то резкое чувство сожаления от внезапно разрушенной дружбы и наступившие одиночество, безнадежность, холод.

На следующий день снова были танцы, но я вовсе не собиралась на них идти. Гуляла одна по коридору, когда меня разыскали другие девочки, привели в другую комнату и торжественно предъявили новую юбку – на этот раз прямую и пеструю, серую с красным. Дескать, вот, наряд готов, одевайся. Так я поняла, что дружба, может быть, и расторгнута, но на танцы я обречена до конца смены. И я пошла одеваться.

Никита Алексеев. Беглая поэзия [8]

В детском саду я провел несколько часов, и случилось это по блажи (вернее, из-за идеологических мотиваций) моего отца. Он вздумал, что меня надо воспитывать в коллективе. Были бабушка и дедушка, которых я обожал, и была чудесная домработница, а по сути няня Маруся, от деревенской нищеты подавшаяся в город. Да и с другими детьми, мне нравившимися, я сходился легко. А зачем было дружить с теми, кто не нравятся и не интересны?

Но папаша настоял на своем и в прекрасный, золотой осенний день отвез меня в детский сад. Мы тогда жили на Кропоткинской, то есть Пречистенке, а детсад – почему-то где-то недалеко от Патриарших. Мне там сперва даже понравилось. Вернее, было любопытно. Но часа через два я понял, что делать мне там нечего. Уже не помню, по какой именно причине. То ли потому, что всех рядком посадили на горшки, а приватность, хотя я такого слова не знал, для меня была важна. То ли потому, что воспитательница затеяла какие-то коллективные игры. Сейчас пытаюсь понять и думаю: скорее всего, самым важным было отвратительное слово «воспитательница». Как бы то ни было, после полдника (кисель и творожник) я из детского сада ушел. Меня при помощи милиции поймали где-то на Арбате, то есть направление домой я взял верно. На следующий день я рыдал навзрыд, а потом в детском саду началась эпидемия кори, его закрыли, и постепенно блажь с садом замялась.

Но отец от своей идеи насчет коллективного воспитания не отказывался. Когда мне исполнилось 11, он меня отправил в пионерский лагерь, почему-то относившийся к Киностудии им. Горького и находившийся, насколько помню, рядом с Мелиховом, имением Чехова. Папаша был журналист-международник, служил в АПН, к кино прямого отношения не имел, но этот лагерь, видимо, был модный и достойный его отпрыска. Мне там тоже сперва показалось любопытно, вполне «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Но уже наутро, когда всех разбудили под гнусавый вопль горна, погнали на линейку, а потом строем повели купаться в лягушатник на речку, я понял, что мне тут делать нечего. И я глазами встретился с еще двумя парнями, которым в лагере тоже делать было нечего.

Один был очень рослый, толстоватый и белесоватый, по фамилии Шерстень. Он, когда мы познакомились, сообщил, что он вовсе не Шерстень, а Шхерстен, потому что его дедушка был швед и его Сталин убил. Второй был маленький верткий брюнет, сын замечательного кинорежиссера Марлена Хуциева. После

отбоя мы посовещались и решили совершить побег. Позавтракали манной кашей, в которой медленно таял кубик масла, отстояли линейку («Будь готов! – всегда готов!») и сквозь дыру в заборе дернули в лес. У всех нас были спички, китайские фонарики, а у Шерстня-Шхерстена даже компас. В лесу мы соорудили из веток шалаш и разожгли костер. По его дыму нас и обнаружили.

Посадили под ключ в отдельный домишко, что-то вроде карцера. Днем приехали родители, чтобы забрать из лагеря злостных нарушителей коллективизма. Не помню, был ли Шерстень-Шхерстен-старший, Хуциев приехал, а мой отец, уже находившийся в фактическом разводе с мамой, был тогда не то в Гане, не то в Камеруне. Забирать меня прибыл мой будущий отчим Валентин Маликов. Он познакомился с Хуциевым, затем они надрали нам уши, на железнодорожной станции купили бутылку водки и отправили нас погулять по деревне. А в деревне что? Петухи да гуси. По дороге в Москву Валентин Иванович мне сказал: «Балбес ты, но уважаю». Для меня это было как медаль за город Будапешт.

В тюрьме я не сидел, в армии не служил; пару раз по месяцу-два куковал в психбольнице. Там тоже сперва было любопытно, а потом очень скучно.

Татьяна Малкина. Лучшее средство [9]

Я была своевременно отдана во все воспитательные учреждения – ясли, детский сад, школу, продленку, пионерский лагерь. Вполне типично для ребенка из семьи нормально бедных советских инженеров в Москве в середине шестидесятых. Все всегда работали, от дома до службы в разные времена добираться было мучительно и долго.

Зато – как утверждает мама – уже к возрасту девяти месяцев после ускоренной подготовки к пребыванию в яслях, где на всех засранцев была пара равнодушных нянечек, не склонных непрерывно менять подопечным мокрые бежевые колготки, я уже всегда сама просилась на горшок. Первое воспоминание о важнейшем навыке относится к детскому саду: в общей горшечной мы одновременно сидим на горшках, делаем вид, что какаем, а сами играем в автодром.

В саду у меня было две любви, поэтому, наверное, я почти ничего не помню из жизни. Вовку я любила как мужчину и друга, мы много говорили и показывали друг другу глупости во время тихого часа. Вовка был чернявый и смешной, хитрый и осторожный, благодаря ему мы никогда не попались на нарушении режима. За нарушение же в нашем саду полагалось наказание – ослушника раздевали догола и ставили столбиком посреди комнаты между раскладушек. Так мы выучивали свой первый шизофренический урок двоемыслия: совместно какать и мыть попы в сообществе, занятом в основном рассматриванием чужих гениталий, было нормально, однако быть с теми же самыми гениталиями выставленным на обозрение тех же товарищей по горшечной, но вне ее, означало плохое, кару. Дурной считалась лишь одна злая воспитательница, которая обнаженного нарушителя выставляла не в середину спальни, а на подоконник, лицом непременно к улице. Ребенок, поставленный на подоконник лицом к улице и голой жопой к товарищам, обычно огорчался и плакал.

Вторая моя любовь в детском саду была Нина Петровна, одна из воспитательниц. Толстая, старая (возможно, ей было даже лет пятьдесят), с крупной завивкой и гигантской родинкой на щеке. Она была мне ангелом, как и Вовка. Из детского сада меня родители забрать успевали не всегда. Предупредить сад они никак не могли, и в какой-то момент Нина Петровна – после часа ожидания родителей во дворе закрывшегося учреждения, где я драматично вжимала морду между прутьями железной ограды, – сказала примчавшейся наконец маме, красной от бега и слез, что

больше так бегать и психовать не надо. Нина Петровна решила в подобных случаях забирать меня к себе домой на ночевку и приводить утром в сад.

Это были лучшие мои дни в детском саду. Нина Петровна, подождав минут пятнадцать после закрытия, брала меня за руку, и мы долго шли к ней домой. Дом у нее был совершенно замечательный, совсем не похожий на мой. Там у нее, в частности, были две комнаты (против нашей одной) и железная кровать с блестящими шариками наверху. На кровати была перина – меня туда клали, я мягко в ней утопала, сверху укрывали такой же, невесомой. Еще были подушки пирамидкой, самая маленькая сверху была прикрыта тонкой белой салфеткой с кружевом. Еще была канарейка в клетке и пела. Были фиалки, много. Были те самые слоники на полочке, числом семь, мне разрешали в них играть. И был муж Андрей, уютный, мирный, все время пивший чай. Про него Нина Петровна говорила, что он рыбак. Зимой к Андрею всегда прилагались валенки, свалявшаяся черная ушанка, ящик рыбака и ледобур (дело было в Химках, на берегу канала им. Москвы). Главное же, что еще было у Нины Петровны и Андрея, помимо уже упомянутых чудес, – вобла. У них всегда была вобла, и они всегда меня ею угощали. В моем мире воблы всегда страшно хотелось, но ее почему-то никогда, никогда не было. А они давали целую спинку и кружку сладкого чая с белым хлебом, и канарейка, и слоники, и перина, и никто не треплет нервы – это было счастье. Так что я очень любила те дни, когда родителям не удавалось справиться с управлением жизнью и забрать меня из детского сада.

Покинув сад и Химки, я больше никогда ни Вовку, ни Нину Петровну не видела, но, видимо, отчасти благодаря их покровительству уверенно вступила на порочный путь привычки к казенным домам. Меня не тяготила школа, дурная и глупая, не оскорбляли ни октябрятская звездочка, ни пионерская дружина, ни комсомольская организация. Уроки двоемыслия были давно выучены, необходимость петь тупую песню «мы ребята-октябрята» компенсировалась радостью от пения как такового, альтернативным репертуаром и нежной дружбой с пьющим учителем пения Геннадием Васильевичем, который заодно втюхивал октябрятам немного классики, а меня сделал бессменным Чебурашкой с арией «Я был когда-то странной». Пионерская организация не терзала душу вовсе, читаемый самиздат, подрезанный у родителей, чудесным образом не вступал в непримиримое противоречие с глупостями про демократический централизм, вялой краеведческой деятельностью и прочим сбором металлолома. И даже НВП с

карикатурным военруком Карпенко была источником искрометного веселья и глума: команда «Газы!», расчленение АКМ и мантра «честь следует отдавать за шесть шагов правой рукой параллельно туловищу».

Комсомольская юность сопровождалась анекдотами про умирающих генсеков, чтением разных антисоветских книг и хороших стихов и непрерывным изготовлением в пионерской комнате стенгазеты, которую я все время порывалась назвать «За передовую магию».

До сих пор не знаю, что спасло меня от падения в пропасть советского активизма. Возможно, случайность – какой-то мелкий сбой матрицы. Для ботаника я слишком быстро бегала, высоко прыгала и азартно играла в футбол и карты, для лирика слишком любила физику, помойки и карбид, для физика – лирику.

Но скорей всего спасло то, что на самом деле все мои мысли всегда были далеко, я занималась переживаниями романтического толка. С первого по четвертый класс у меня был жизненный партнер Игорь – необычайной красоты и благородства одноклассник, живший двумя этажами ниже. Мы не разлучались: ели-пили вместе, вместе делали уроки, ходили в школу и кино, парно катались на коньках и лыжах, рисовали, лепили из пластилина и мастерили из железного конструктора с дырочками и гайками. Он носил мой портфель, научил меня кататься на двухколесном велосипеде, а на крики «тили-тили-тесто» отвечал с чарующей улыбкой: «Да». Но в пятом классе они переехали. Куда-то страшно далеко, куда без помощи взрослых советскому ребенку было никак не добраться. Поскольку родители наши меж собой не дружили, мы с Игорем навсегда потерялись. Мне было непривычно и холодно, как сиамскому близнецу, у которого отрезали половину. Тогда, видимо, я и стала в основном любить решительно недоступные, то есть максимально безопасные в смысле потенциальной разлуки объекты – от Гойко Митича до Пако де Лусии.

Но все же время от времени я привязывалась и к реальным объектам. Летом я всегда отправлялась на две смены в пионерский лагерь. С 11 лет до самых 16 я ездила в пионерский лагерь близ г. Верея, потому что полюбила. Когда я влюбилась (с первого взгляда) в Семена Абрамовича, он еще не был начальником лагеря. Начальником тогда был его папа, Абрам Давыдович, человек редкой породы «еврей-богатырь» – рослый и грозный, с зычным басом. А сын его Семен тогда был так называемым старшим пионервожатым, и лет ему было 36, но уже на следующий год он стал начальником п/л. И я любила его страстно и преданно вплоть до того момента, когда

обстоятельства непреодолимой силы – я окончила школу и была вынуждена стать студенткой – не разлучили нас. Последний раз я видела его в 1984 году осенью, уже после поступления на журфак. Чудом надыбав где-то его телефон, я дерзко вызвала Семена на свидание, чтобы гордо рассказать о своей учебе в МГУ. Я привела туда двух своих главных подруг – показать самого красивого и умного мужчину на свете (зеленые глаза, темные круги под ними, рыже-седая борода, прямоугольные еврейские руки). Он пришел в присущей ему пижонской курточке от Олимпиады-80 – оранжево-белой, из нежной шелестящей ткани, сказал, что гордится и не сомневался, пожелал успеха. Подруги сфотографировали его, фотография у меня.

Он был ужасно хороший, мне кажется. Хотя я знаю про него очень мало, вообще ничего. Но точно знаю, что он сохранил и уберег меня от обыденного пионерского ужаса, потому что у меня было важное всепоглощающее занятие – любовь к Семену. Утренние линейки с подъемом флага были лишь поводом для первого свидания с любимым. Художественная самодеятельность – способом спеть ему о любви (чаще всего я бывала ежиком с дыркой в правом боку), «Зарница» – возможностью показать ему рыцарскую доблесть. Своих чувств я никогда не считала нужным скрывать, даже если бы была способна скрыть хоть что-нибудь. О моей любви к С. А. знали все – от грубой поварихи до его собственной миловидной второй жены, подвизавшейся в качестве воспитателя у каких-то самых мелких недопионеров, в числе коих была и их прелестная маленькая дочка. Знал о ней и сам Семен, и его сын от первого брака, мой ровесник и потому соотрядник, хлыщ и красавчик. Трудно вообразить мне сегодняшней, какой трёхнутой я тогда ему представлялась. Каждый день, сжимая под мышкой какую-нибудь библиотечную книгу, я приходила в офис его папаши (пионерская комната? не помню), где у меня были дела – то изготовление стенгазеты, то подготовка отчетного концерта, то работа над поддержанием лагерного музея в достойном состоянии. Между дел мы с Семеном разговаривали. В остальное время я просто смотрела на него, накапливая его на зиму.

Не помню, к какому лету отнести классический лагерный эпизод: в отряде была нездоровая и проблемная девочка, которой здоровые и беспроблемные девочки решили устроить популярную процедуру «переливание». Делается так: над спящим пионером стоит толпа товарищей, некоторые из них громко и медленно переливают воду из одного сосуда в другой, а остальные шипят «пс-с-с… пс-с-с…». Когда пионер в результате этой процедуры описывается во сне, его подвергают позору и осмеянию.

Нормально, в принципе. Но в то лето я уже откуда-то точно знала, что дозволить не могу и должна встать на защиту несчастной девочки, хоть и без малейшей симпатии к ней и практически через силу. Но знала и встала. Девочку не тронули, меня тоже, но, видно, я вдохнула достаточно яда, чтобы – не помню уже точно деталей замысла – пойти утопиться. Оставила где-то (или все же, не исключаю, кому-то?) записку «прощайте», покинула территорию, зашла в одежде в быструю холодную реку по ноздри, помедлила напоследок и устыдилась, представив себе, как маме звонят на работу с оповещением. Так что решила взамен пойти пешком в Москву с неясным планом на потом. Одежда на мне быстро высохла, на окраине Вереи я нарвала яблок, пить было можно из колонок. Шла долго, на некоторой доле пути к Наро-Фоминску на обочину впереди лихо зарулил, обдав меня жирной пылью, лагерный «козел», за рулем был Семен, коротко кивнул – «садись», на обратном пути, пока я рыдала, не сказал ни слова.

Вообще находится совсем мало конкретных воспоминаний о самой детской жизни, лишь мелкие обрывчатые картинки – видимо, все всегда тонуло в помраке любви. Помню: в том же лагере из-за чего-то (не узнать теперь) очень, очень горько плачу, навзрыд, почему-то в уборной, которую еврей-богатырь Абрам Давыдович сочно рекомендовал «выгреба у нас на улице». Плачу и кошусь в дощатые дыры, где пенятся вонючие охристые ряски, и думаю, как легко туда как бы невзначай провалиться и пропасть, с кротким пузырчатым бульком, как в ужасном кино «А зори здесь тихие». Но через миг помню себя стоящей с запрокинутой головой за выгребами, под высокими пирамидальными тополями, которые мотают верхушками в ясном небе, а я уже в состоянии восторга: нет, жизнь еще не кончена в четырнадцать лет (привет, дуб), она прекрасна и полна любви, тополей и бог еще знает чего.

Или, например, смутно припоминаю, что была какая-то тягостная смена в лагере, но без подробностей. Много лет спустя натыкаюсь в сбереженных мамой письмах на послание ко мне от вожатой. Главное там вот что: «Помнишь, я обещала поговорить с тобой? Пойми меня правильно и не обижайся на то, что сейчас прочтешь. Это не нотация, а просто желание тебе помочь. Ты очень хорошая девочка, но, как и во многих твоих ровесниках, в тебе слишком много возрастных недостатков, которые должны пройти, если вовремя их увидеть. Самое, пожалуй, худшее, что в тебе сейчас есть, – это твоя манера разговаривать со взрослыми. Понимаешь, Танюша, умом ты уже достаточно взрослая, но психика и внешность – еще подростка. Ты еще не осознаешь этого, но проявляется у тебя это на каждом шагу. Язык твой – враг твой.

То, что ты говоришь взрослым мужчинам, приводит их в бешенство – ведь ты еще ребенок, а делаешь такие замечания, которые мужчины не прощают даже некоторым взрослым женщинам. Попробуй быть сдержанной, сначала подумай, что сказать и надо ли это говорить, а только потом говори. Научись ставить себя на место того, к кому ты обращаешься, тогда ты поймешь, насколько ты бываешь неправа. Будь ребенком, не надо слишком рано взрослеть». Ужас и сейчас охватывает меня по прочтении этих строк. Кого и чем я приводила в бешенство? Каким взрослым мужчинам я дерзила? Ничего не помню, ничего, останется загадкой.

Судя по всему, письмо относится к последней моей лагерной смене, где в первом отряде коротали лето совсем уже здоровые лбы-десятиклассники – секс-водка-рок-н-ролл. Сын С. А. демонстративно гулял с самой, на мой взгляд, противной и точно самой сексуальной девочкой отряда Леной Б. Какой-то порочной ночью они вырезали на скамейке перед нашим корпусом «Здесь были такие-то, назло Малкиной». Иногда после отбоя пионеры вообще все поголовно куда-то сваливали парами, кроме меня и очень толстой девочки, которая хорошо спала. И мне приходилось идти гулять ночью в гордом одиночестве, благо я знала наизусть много мрачных романтических стихов. Однажды – ровно в такую глухую ночь ста дней после детства – кто-то стукнул тихонько в окно, я выглянула и обмерла: Семен стоял в штормовке, как индеец, прижимаясь к стенке, с ведром и двумя удочками. Озирнувшись, он сказал: «Ну ладно, чего так сидеть-то, пойдем рыбу ловить». И мы прокрались на лагерный пляж ловить в Протве рыбу, было много звезд, С. А. рассказывал мне про Пастернака, мы поймали и отпустили какого-то окуня, очевидно страдавшего бессонницей. Нас не засекли. И я никогда никому не сказала. И всю жизнь благодарна.

Будучи уже много старше Семена, я без труда разыскала в сетях его сына – умного айтишника-просветителя, нежного семьянина, симпатичного и лысеющего. Он написал мне, что его отец умер, рано и давно. Эх, так я и не поблагодарила его за ту ночную рыбалку, за деликатную дружбу, за возможность пребывать в спасительном тумане одержимости, в уютном коконе любовного слабоумия, быть всегда как бы немного пьяной, согласно завещанию Бодлера. Только вот детали происходящей вокруг жизни плохо запоминаются, но это, думаю, ничего.

Отставка из рая

Мария Игнатьева. Под водой [10]

Однажды, когда мне было восемь лет, я тонула. Вместе с одной девочкой мы попали в подводную яму. Пока я всеми силами пыталась отцепиться от тянувшей меня вниз подружки, мысленно я совершенно не участвовала в борьбе за жизнь, а просто наблюдала за тем, что со мной происходит. Я знала, что люди, которые тонут, – умирают, и хотела понять, умерла я или еще живу. Я вспомнила, что во время смерти люди «теряют сознание». С «сознанием» ассоциировалось нечто сложное и высокое, и наиболее подходящим в тот момент мне показалась таблица умножения: если я помню, сколько будет шестью шесть, значит, я не потеряла сознание. За повторением одной из формул меня и вытащили из воды.

Интерес к тому, как возникают и живут мысли в нашем уме, у меня развился во время долгих «тихих часов» в детском саду. Вот мы с Юрой Л. уже дождались и подсмотрели, как маленькая круглая воспитательница, ложась в постель (она отдыхала вместе с нами в той же комнате), смешно подправляет вверх шарообразные груди, и Юра, продолжая беззвучно хихикать, засыпает. А я гляжу в сумрак под одеялом и думаю. Я думала про то, как я «думаю». Лежа в спальне среди других детей, я изнутри осязала свою голову и эту «думу» в ней. Помню и такую свою мысль: все другие дети – не настоящие. Если их ущипнуть, они не почувствуют того же, что чувствую я. Доказательством служило то, что и я не чувствовала ничего, когда кому-то из них было больно.

Меня воспитывали мама и бабушка, обе матери-одиночки. Обе много работавшие (мама – инженером в «ящике», бабушка – эмбриологом в НИИ), поэтому бо́льшая часть моего детства и юности прошла в казенных домах: яслях, детсаду, трех школах, ежегодных пионерлагерях. Там я и возросла бабушкиным подводным эмбрионом – мечтательным, беспочвенным и бесхребетным.

Детский сад находился по другую сторону улицы Обручева, тогда застроенной белыми пятиэтажками.

«Ну-ка, бегемотики,
Открывайте ротики» –

мы открывали ротики, и Ольга Андреевна, приговаривая этот стишок, видимо ею же сочиненный, заливала в каждый рот по

столовой ложке рыбьего жира. Бабушку-биолога такая ежедневная антигигиена в моем садике приводила в ужас. Ведь дома взрослые при первых признаках простуды надевали на лицо марлевую повязку, чтобы не заразить ребенка. В ванной на стене красовалась вырезанная из лейкопластыря бирка с воззванием: «Машино полотенце. Просьба не трогать!» Надпись была сделана синей шариковой ручкой, печатными буквами – так, вероятно, помечались и пробирки в бабушкиной лаборатории. Дома руки мыли перед едой, как моют священные сосуды. А в садике мы ходили на общие горшки, вытирались общим полотенцем и пили из одной ложки рыбий жир, который я много лет считала одним словом – «рыбежир».

Никогда так четко, как в детстве, я не думала о том, как думаю, и никогда столько не сочиняла и не врала. Ведь все вокруг было иллюзией, кроме внутренних ощущений и наблюдений. Я много лет верила в то, что действительно однажды летала: мы играли, и вдруг я встала и приподнялась сантиметров на 30–40 над полом и постояла так. Затем опустилась. Дети продолжали играть рядом, не обратив внимания на мой полет.

Из детского сада, где я проводила не только дни, но и ночи, я перешла в школу, в которой тоже ночевала. Это была экспериментальная школа-интернат с эстетическим уклоном. Уроки музыки, балета, лепки, английского языка. Фонтан во дворе – без воды, но из массивных камней. Однажды там снимали какой-то детский фильм, и фонтан превратили в снежную крепость. Сниматься в фильме взяли нескольких моих одноклассников, благо выбирать было из кого: со мной учились внук знаменитого хореографа Игоря Моисеева и дочка кинорежиссера Геннадия Шпаликова.

А я дружила с простой девочкой Сашей Жирновой: большие глаза немного навыкате и две светлые косы по бокам, с бантами. Я рассказала Саше страшный секрет про то, что я работаю связной у разведчиков и что у фонтана я складываю и получаю тайные шифровки. Мы вместе ходили собирать оставленные мне донесения – они были засекречены в гладких камешках, которые я тут же расшифровывала. Саша помогала мне искать, она подавала мне камни и спрашивала: «Не этот?»

К слову сказать, место, где проходила наша конспиративная деятельность, было особенным. На пустыре, на котором со временем построили здание школы, первый официальный советский серийный убийца Василий Комаров, действовавший с 1921 по 1923 год, поначалу закапывал трупы своих жертв. Он знакомился с мужичками, приезжавшими в Москву за каким-нибудь товаром, приводил их к себе домой якобы для совершения

сделки, поил и затем убивал молотком. Михаил Булгаков, описавший судебный процесс над Комаровым, отметил такую подробность: у Комарова имелось специальное оцинкованное корыто, чтобы в него с трупа стекала кровь, не марая мешка, в котором он переносил тело. Булгаков сравнил убийцу с часовой луковицей без часового механизма – человек без человеческого содержания. Комаров равнодушно убивал, равнодушно относился и к угрозе расстрела: «Э… все поколеем!»

Автор «Собачьего сердца», вероятно, вспоминал Комарова, когда спустя два года после процесса, в 1925 году, сочинял повесть о звере в человечьем облике. Жизнь не осталась в долгу и ответила появлением в 1926 году Института переливания крови, созданного большевиком А. А. Богдановым. Богданов верил в то, что, получая путем переливания кровь молодых людей, возможно омолодиться, а такая «связь между поколениями» способствовала бы созданию «нового человека». Сам Богданов умер во время эксперимента. Институт крови, кстати, находился неподалеку от Шаболовки, на Якиманке, в Доме Игумнова, ставшем затем французским посольством.

Моя первая подруга Саша помогала мне не только в секретно-разведывательной работе. Саша приносила из дома, куда, как и все, ездила по средам и субботам, рецептурные бланки: ее мама, милая женщина с гладкими светлыми волосами, заправленными в пучок, была врачом. Однажды мы заполнили рецепт на одну нашу нелюбимую учительницу, у которой нашли понос и другие некрасивые заболевания, прописали ей порку и марганцовку и подписали: «Врачи Жирнова и Оганисьян». И вот именно на уроке «пациентки» рецепт вывалился у меня из кармана школьного фартука, и я как сейчас вижу: учительница поднимает листок с пола в проходе между партами и спрашивает: «Чье это?» – и читает. Помню мое чувство: это так страшно, что этого просто не может быть. Странно, что из памяти совершенно выветрилось наказание, зато еще много лет спустя на меня накатывал приступ смеха при воспоминании о слове «врачи». Как знать, не случись катастрофы с обнаружением улики, и сама шалость бы забылась, и срок хранения смеха истек бы намного раньше.

Эксперимент с эстетическим уклоном не удался, и школа на Шаболовке стала просто спецанглийской без всякого интерната, поэтому меня перевели в другую спецшколу поближе к дому. Но все же мне приходилось ездить с моей улицы Обручева до Трансагентства по Ленинскому проспекту сорок минут в один конец: давка, зимой еще и с лыжами, негры из института имени Патриса Лумумбы, причем один из них был альбиносом. В придачу к давке на том же автобусе ездил мерзкий мальчишка

чуть старше меня, лазивший к девчонкам под юбку, а на обратной дороге в уже полупустом троллейбусе мог попасться пожилой эксгибиционист. Дорога в школу была местом, которое было важно пережить с минимальным ущербом.

Впрочем, у этой отдаленности школы от дома имелись свои плюсы: можно было сочинять небылицы о том, что происходило у меня дома или во дворе, и моим одноклассникам, в большинстве своем жившим рядом со школой, было непросто узнать правду.

Так, однажды в четвертом классе я выдумала, что у моей мамы есть брат, Сергей, капитан-кругосветник. Этот дядя Сережа будто бы приехал к нам в гости из Африки и привез с собой обезьяну и медвежонка коалу. Я так живо описала в сочинении и дядю, и животных, и свое блаженство, что учительница прочитала мою работу в классе. Ну кто ее просил? Полкласса собралось ехать ко мне домой, чтобы посмотреть на зверят. Каждый вечер мы договаривались о поездке (к счастью, дальней!), и каждое утро я тащилась в школу с мыслью о том, какой бы выдумать предлог, чтобы отменить гостей. Наконец, дядя «уехал» в очередное плавание и, конечно, забрал с собой своих питомцев. Мы все вздохнули с облегчением. История постепенно забылась, но не вполне.

У нас в классе был мальчик, отличник по математике. Он был немного толстенький и ходил бочком. Спустя месяц, на перемене, этот мальчик подошел ко мне откуда-то сбоку и сказал своим слегка замедленным голосом:

– А я читал, что коалы не могут жить в наших условиях.

– Почему это не могут? – возмутилась я.

– У нас для них слишком холодно, – объяснил отличник и многозначительно улыбнулся.

– А мой может, – отрезала я и ушла с высоко поднятым носом. Но я знала, что и на этот раз меня застукали.

Спустя еще тридцать лет мы встретились с этим мальчиком в Нью-Йорке. К этому времени и он, наконец, забыл про коалу.

Во второй моей школе я научилась курить, сквернословить и казаться, при необходимости, тургеневской девушкой. Однажды завуч застигла нас с подругами в накуренном классе. Сигареты не нашли, хотя и вытрясли наши рюкзаки. Пачка «Явы» лежала у меня в кармане фартука. Разговаривая со мной наедине у себя в кабинете, завуч тихо спросила: «И ты куришь, Маша?» «Ну что вы, Зоя Павловна, конечно, нет!» – ответила я, проникновенно глядя ей в глаза. Со временем та же завуч скажет моей маме фразу, которая обогатит наш семейный обиход новым крылатым выражением: «Смотрит ангельскими глазами – и нагло врет».

Перед последним, десятым, классом для улучшения

характеристики и аттестата (у меня была всего одна пятерка, по английскому) меня перевели в третью школу. Это уже была обычная школа, зато она стояла в лесу, рядом с домом и моим бывшим детсадом. Детство сдалось юности на том же месте, где и наступило, – не только географически, но и метафизически.

Учительница истории уговорила меня участвовать в городской олимпиаде, и я написала реферат на заданную тему: «Ленин – ученый в революции и революционер в науке». Для этого мне пришлось прочитать труд Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Описание в этой работе идей монизма напомнило мне мои детсадовские думы об иллюзорном существовании других людей: «мир состоит только из наших ощущений». Может быть, серийный убийца Комаров тоже думал, что другие не существуют? Любопытно, что в этом труде Ленин изливал свой полемический яд против того самого Богданова, который уже после смерти Ильича занимался переливанием крови под идеологическую музыку.

Общепринятое вранье интуитивно воспринималось мною не как собственно ложь, но как часть общей советской фантасмагории – того выдуманного мира, по отношению к которому единственной реальностью является осознание окружающей неправды. Сутулая девочка-подросток, ездившая в школу по Ленинскому проспекту, мгновенно опознала это свое состояние в стихах Мандельштама, которые ей попались в руки в самиздатовской перепечатке:

> С миром державным я был лишь ребячески связан,
> Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья –
> И ни крупицей души я ему не обязан,
> Как я ни мучил себя по чужому подобью.

Впрочем, случались и настоящие эпизоды, открывавшие в жизни признаки чего-то серьезного и реального. Например, такой. Ранняя весна. Мы с классом возвращаемся по переулку из Третьяковской галереи. И вдруг я замечаю: невдалеке, на церковной паперти, лицом к закрытой двери, стоит на коленях мужчина в распахнутом пальто и без шапки. Все было необычно: и церковь (в моих новостройках церквей не было), и взрослый человек на коленях, и эта легкая одежда на еще морозном воздухе. В тот момент я впервые увидела, что и вне моего замкнутого пространства существует нечто важное, и это вызвало тревогу, которая покачнула ощущение устойчивого пребывания в уже освоенном мире личных дум, где внешнее казалось лишь иллюзией.

В действительности посмотреть на гвардейцев исподлобья мне доведется в 1982 году, когда чекисты заявятся с обыском в квартиру на Обручева. Мне еще нет двадцати. В пять утра я сижу в своей комнате на мешке, в котором собран крамольный «тамиздат». Было известно, что один диссидент, приятель моей матери, который был арестован КГБ, выдает органам всех своих знакомых. Мешок с книгами увезти еще не успели, и вот я восседаю на нем, пока кагэбэшник в штатском листает мой дневник, полный исповедальных размышлений о Христе.

– Как же так, Маша? Тебе не стыдно?

На мешок не обратили внимания, хотя и переворошили всю квартиру: один из сотрудников, который выскребал все с антресолей, где хранились сухие продукты и крупы, даже оказался весь обсыпанным мукой. Дневник мне вернули, и я его потом сама уничтожила. Больше я уже ничего не писала, что бы могло меня смутить, попадись написанное на глаза чужому человеку.

Но Маше до сих пор стыдно, что она написала тот реферат по Ленину и наврала про коалу, как и многое другое, что зарождалось в потемках под детсадовским одеялом и потом выплеснулось в события и несмываемые поступки. Возможно, этот стыд и есть часовой механизм, превращающий луковицу в часы.

Алексей Моторов. Петушок на палочке [11]

Анастасии Бардиной

– Я вам уже сто раз говорила, мамаша, с такими миндалинами он так и будет всю дорогу болеть! – сердито сказала тетя врач и бросила свою дурацкую железку в белую кривую миску, отчего там противно звякнуло. – Удалять и даже не думать!

Мама стояла где-то там, за спиной, я ее не видел. Тетя врач посмотрела на меня и добавила строгим голосом:

– Так, а ну прекрати давиться, я давно закончила!

Я тут же перестал, хотя она закончила не давно, а только что, а эта железка, которой смотрят горло, она такая длинная, целый километр. Дома врачи берут ложечку, от ложечки тоже давишься, но не так сильно. У врачей полно разных инструментов, которыми они делают больно. Вот мне Ася еще давно рассказывала про шприц и показывала его на картинке. На шприц надевают иголку и колют этой иголкой того, кто заболел.

Ася тогда спросила:

– Если болеешь, зачем же еще иголкой колоть? От этого же только хуже будет.

И правда, непонятно. Еще у врачей есть пинцеты, такой пинцет лежит у деда Яши в ящике стола. Пинцетом вырывают зубы, когда они болят. Это тоже Ася рассказала. Ася умная, она все на свете знает.

У тети врача целая куча инструментов. Вот они, рядом, на белой тряпочке. Я стараюсь туда не смотреть, но голова сама поворачивается. И длинные есть железки, и с маленьким зеркальцем на конце, и разные кривые иголки, и короткие трубочки, мне одной такой только что уши смотрели, больно не было, только в ушах стало холодно. Еще есть всякие блестящие гнутые ножницы, маленькие ножички, и маленькие ложки с толстыми-претолстыми ручками. Но больше всего я боюсь такой страшной штуки, она с одного конца как ножницы, а с другого как щипцы, когда на нее смотрю, у меня не в ухе, а в животе холодно становится.

Нет, все-таки лучше болеть дома и никуда не ходить. В поликлинике, кроме картинок на стенах, нет ничего интересного. Я люблю эти картинки разглядывать, там есть очень страшные. Они чем страшней, тем интереснее. Самые страшные висят в конце коридора, но, когда я с бабой Аней, она меня туда не отпускает. Наверное, боится, что со мной случится как с тем

котенком из книжки. Он ночью по лунной дороге отправился на луну, вернулся весь в лунном свете и светился в темноте, как лампа. Вот бы мне так.

Но баба Аня сказала, что знать ничего не желает ни про котенка, ни про луну, ни про все остальное. Она меня всегда учит, чтоб я вел себя, как ведут послушные мальчики, а то вдруг люди посмотрят на меня и скажут, что я озорник. Вести себя как послушный мальчик – это молчать, не бегать и ничего не трогать.

Сегодня мы здесь с мамой, все потому что баба Аня вчера опять стала жаловаться, какая она старая, как ей со мной тяжело, какой я непослушный, и пусть мама берет отгул. Еще добавила, что скоро умрет и всем на это наплевать, но мама сердится, когда это слышит.

– Ты уже двадцать лет твердишь о своей скорой смерти, смени пластинку.

Но ведь у бабы Ани нет ни пластинок, ни проигрывателя. Она радио любит слушать, никогда его не выключает. Пластинки есть у нас на даче, где мы с бабой Людой, другой моей бабушкой, любим слушать песни Вертинского и разные сказки. Наверное, из-за того, что мама все перепутала, баба Аня сразу же обиделась и сообщила, что теперь-то уж она точно со мной никуда не пойдет. Баба Аня всегда обижается. Обижается и тут же плачет. Баба Люда обычно говорит:

– Сочувствую, Танечка. Вашей маме что заплакать, что в туалет сходить.

Мне жалко бабу Аню. Тех, кто плачет, всегда жалко. Зато я знаю, кто бабу Аню не жалеет. Тетя Люся – жена дяди Лени, маминого брата. Недавно у бабы Ани день рожденья был, и там гости курили, шумели и говорили: «Дай Бог тебе здоровья, Анечка, живи до ста лет». Но баба Аня замахала на всех руками и пожаловалась, что, может, даже до зимы не доживет, так себя плохо чувствует. Тетя Люся как раз посуду выносила на кухню и, когда мимо меня проходила, сказала негромко:

– Ты нас еще всех переживешь, ведьма старая!

– Вот что, мамаша, дам я вам направление в Филатовскую, – тетя врач встала со стула и повернула зеркало с дырочкой у себя на голове. – Лучше ложитесь прямо сейчас, пока жара не наступила.

Я люблю, когда жара. Мы тогда на пруд ходим купаться. У нас на даче пруд есть. Там еще в прошлом году дядя утонул. Он потом на берегу лежал, не шевелился, все на него смотреть ходили, и мы с Асей тоже.

– Вот подпишите у заведующей, печать в регистратуре, – тетя

врач протянула бумажку. – И не затягивайте, а то так и до порока сердца допрыгаетесь.

Прыгать я тоже люблю. У нас в Москве в комнате диван стоит, на нем очень здорово прыгать. Но мама не разрешает на диване прыгать, говорит, что я его продавлю. Наверное, когда с больным горлом прыгаешь, можно себе сердце продавить, и оно перестанет стучать. А если сердце перестает стучать, человек умирает. Это баба Люда нам рассказывала недавно.

Баба Люда много всего нам рассказывает и много всего читает. А больше всего она любит рассказывать про Иисуса Христа и читать писателя Льва Толстого. Еще она любит играть на гитаре и петь песни. А одну песню она даже про меня сочинила и часто ее поет.

Растет у нас сыночек,
Как во саду цветочек.
Алешенька хорошенький,
Как солнца луч пригоженький.

Тетя врач попросила, чтобы мы позвали следующего, мама сказала: «До свидания!», оставила меня в коридоре на лавочке, а сама пошла к заведующей. В коридоре было много людей, и детей, и взрослых, и никто не обращал на меня никакого внимания. Это потому что я сейчас веду себя как послушный мальчик. Молчу, не бегаю и ничего не трогаю, жалко, баба Аня не видит.

Буду сидеть и читать слова на той большой картинке, что висит напротив, хотя я ее уже наизусть знаю.

Там нарисованы дети с лицами как у измятых кукол.

– Жертвы пьяного зачатия! – прочитал я громко.

Сидящая под картинкой некрасивая толстая тетя вздрогнула и, прижав к себе некрасивую толстую девочку, с ужасом уставилась на меня.

– Какая прелесть! – всплеснула руками другая тетя, кудрявая, в очках, и засмеялась. – Боря, Боря, ты только посмотри на этого вундеркинда, он уже читать умеет, надо же!

Она ткнула локтем большого мальчика. Тот тоже был в очках, тоже кудрявый и читал толстую книгу. Мальчик взглянул на меня и снова уткнулся в книжку.

– За жертву пьяного зачатия так это зятю моему спасибо! – сообщила вдруг строгая старушка с палкой. – Таким внуком меня наградил, прости господи!

Рядом с ней сидел мальчик чуть меньше меня, с открытым ртом, из носа у него текли сопли.

Кудрявая тетя посмотрела на него, вздохнула, покачала головой и стала смотреть в книгу своего мальчика.

Тут вернулась мама, а эта кудрявая в очках ее спрашивает:

– Сколько лет вашему сыну?

Мама ей говорит:

– Четыре скоро, через два месяца.

Та удивилась:

– Надо же, какой способный, да и вы молодец, научили, а мой Боря только к школе читать начал, зато сейчас все время с книжкой, приходится силой отнимать, зрение себе испортил, вот сидим к окулисту, пришли за рецептом на новые очки.

Подумаешь, я давно читать умею, я еще зимой рассказ «Филиппок» сам прочитал. Зимой баба Люда нас с Асей читать учила. Но все обычно хвалят маму, ну и пусть. А очки носить не хочу, те, кто очки носят, все некрасивые.

Мы вышли на улицу, тут мама говорит:

– Отвезу тебя на дачу, а в начале недели снова за тобой приеду.

Я так обрадовался, даже запрыгал. Потому что на даче лучше всего. Еще мама скоро приедет, а то я ее почти не вижу. Я ведь там живу, на даче, и зимой и летом, в Москву меня редко берут. В Москве интересно, в прошлый раз мы в кино пошли, мама с папой и я, где фильм про индейцев показывали, «Чингачгук – Большой змей». Фильм хороший, там индейцы эти друг в друга маленькими топориками кидаются, только я все время ждал, когда же появится этот Большой змей, но так и не дождался.

В троллейбусе мама сказала:

– Тебе скоро горло полечат, зато потом можешь мороженого есть сколько захочешь! И на юг теперь с нами поедешь, а то тем детям, у кого горло болит, на юг ездить нельзя.

Какой же у меня сегодня день счастливый! И на дачу отвезут, и мама скоро за мной вернется, а когда на Десне будем с дедом Яшей, он около остановки мне мороженое купит, а не только Асе. А еще мы на юг поедем, я, мама и папа. Я знаю, что такое юг, это там, где жарко и растут пальмы с кокосами как в Тунисе, где тетя Юля, Асина мама, работала.

Мама приехала на дачу после выходных, даже ночевать не осталась, сказала бабе Люде, что прямо сейчас отвезет меня в Москву, чтобы утром в Филатовской быть. Баба Люда согласилась, что это правильно, и спросила про папу. Мама вздохнула и ответила, что папа ушел в поход на байдарках и будет нескоро. Байдарки – это такие лодки, на которых папа любит плавать по разным рекам. Баба Люда погладила меня по голове, и мы поехали в Москву.

В Москве я захотел посмотреть «Спокойной ночи, малыши», но мама сказала, что телевизор сломался. Потом я немного поиграл, но одному, без Аси, играть было неинтересно, и тогда я лег спать.

Утром, когда мы шли в эту Филатовскую, я всю дорогу говорил, как здорово, что мне полечат горло, и мы сразу пойдем есть мороженое, только мама почему-то молчала. Потом мы спустились в подземный переход, там стояла какая-то тетя в пестром платке, и, когда мы проходили мимо, она быстро заговорила:

– Купи леденец, красавица, сыну твоему радость будет, да и тебе счастье.

В руках у нее было много леденцов на палочках, но самым лучшим, самым красивым, был огромный красный петушок. Я как его увидел, так и остолбенел.

Тут мама дернула меня за руку, сказала, что мы и так опаздываем, да еще ты встал, но вдруг посмотрела внимательно и спросила:

– Ладно, хочешь, я тебе куплю леденец?

И я ответил шепотом:

– Хочу!

Тогда мама достала кошелек и купила этого большого красного петушка. Тетя протянула его мне и рассмеялась:

– Держи свой гостинец, кареглазый!

Петушок был тяжелый, на толстой деревянной палочке, с большим пышным хвостом и красивым гребешком. Я шел и смотрел только на него, даже не заметил, что мы подошли к какому-то дому. Мама объяснила, что туда с леденцом нельзя и нужно его пока спрятать в сумку.

Мне очень не хотелось с ним расставаться, но потом я подумал, мы же скоро отсюда выйдем, отправимся есть мороженое, мама сразу мне отдаст петушка, и тогда все люди будут идти и смотреть на него, такого красивого. А есть я его не буду, отвезу на дачу и обязательно поделюсь с Асей.

Внутри того дома, куда мы пришли, люди очень быстро ходили туда-сюда. Мама стала у всех спрашивать, куда идти, но сначала никто не знал. Потом кто-то объяснил, что нам нужно в приемный покой. Мне показались очень смешными эти слова – «приемный покой». Когда мы его нашли, этот приемный покой, там были две тети. Одна сидела за столом, а другая стояла рядом. Та, которая сидела, спросила, есть ли у нас направление, и когда мама стала искать его в сумке, я постарался разглядеть там моего петушка, но тут мама сумку закрыла.

Тетя взяла у мамы какую-то бумажку, прочитала и сказала

другой, что меня можно отправлять. Мы зашли с этой другой в соседнюю комнату, где она велела снять одежду, потом надела на меня чужие синие штаны, белую рубашку и повела по очень длинному коридору.

А я все время оборачивался, ведь нужно маму подождать, но тетя крепко держала меня за руку и все приговаривала:

– Иди, иди, не крути головой.

Когда мы поднялись по лестнице, тетя стала звонить в дверь. Нам так долго не открывали, что она даже удивилась:

– Спят они там все, что ли?

А я все стоял, оглядывался, ждал, что вот-вот мама покажется, но тут дверь открылась, там стояла новая тетя, и она сказала:

– Чего застыл, проходи.

Внутри было шумно от голосов, как в детском саду, меня туда водили всего неделю, потом я начал болеть и снова на дачу вернулся. Может, это такой детский сад?

Тетя посмотрела на меня и спросила:

– Ну что, долго здесь стоять собираешься? Иди за мной, палату покажу.

Мы пришли в огромную комнату, где бегало много детей и стояло много кроватей. Тетя показала пальцем:

– Вот твоя кровать, вот горшок, веди себя хорошо, а то влетит.

Я знал, что вести себя хорошо – не бегать, ничего не трогать и молчать, но все-таки спросил, а где же моя мама?

Она тут же рассердилась и даже закричала:

– Придет, придет твоя мама, вот пристал, мне давно пора белье получать, а я тут сопли вам подтираю!

Подошли две девочки, большие, старше Аси, им, может, целых шесть лет или даже шесть с половиной. Они сначала просто смотрели на меня, потом одна спросила:

– Тебя что, на операцию положили?

Какую еще такую операцию, путают они что-то:

– Нет, мне горло тут полечат, и я пойду с мамой мороженое есть.

А вторая девочка говорит:

– Понятно, значит, у тебя гланды. Всем, у кого гланды, делают операцию, но ты не бойся, она обязательно с заморозкой будет. Тут всем операцию с заморозкой делают.

Мне это совсем не понравилось:

– Нет, я не хочу операцию, не хочу заморозку, я хочу, чтобы мама за мной сейчас пришла, она меня ищет, но никак найти не может.

Первая девочка ко второй повернулась и сказала:

– Ладно, не пугай его! Разве не видишь, он совсем малыш, ничего не понимает, не надо ему про операцию говорить. Я всегда малышей жалею!

Вторая посмотрела на меня и кивнула:

– Теперь я сама вижу, что малыш, а сначала подумала – он взрослый.

Первая девочка говорит мне:

– Вот что, малыш, хочешь, мы будем о тебе заботиться?

И я ответил:

– Да, хочу.

Тут за мной пришла какая-то тетя, опять новая, девочки ее называли няней. Я няню спросил, нашлась ли моя мама. И няня ответила:

– Нашлась, куда денется.

А сама привела меня не к маме, а в маленькую комнату, где сидели две тети врача. Одна посмотрела мне длинной железкой горло и другой кивнула:

– Давай его на среду, во вторую очередь.

Я их тоже стал спрашивать про маму, и они сказали:

– Увидишь, увидишь ты маму свою, а сейчас ступай обратно.

Открыли дверь и позвали няню, чтобы она меня в палату отвела. Потом был обед, после обеда всех положили спать, а я не спал, все ждал, когда придет мама. И когда нас подняли, ждал, и когда настал ужин, ждал, даже когда на ночь спать уложили, тоже ждал.

На следующий день мама опять не пришла. Я все смотрел и смотрел на дверь, представлял, как она войдет, скажет, что заблудилась, что искала меня днем и ночью, но теперь нашла, и мы с ней пойдем отсюда. А на улице она достанет из сумки моего петушка, и я буду идти, на него любоваться.

Те девочки, которые обо мне заботились, все время говорили, что мама придет, обязательно придет, не переживай.

На третий день, я только проснулся, ко мне подошла няня, сказала, что мне нельзя завтракать и чтоб я сидел на месте, а то ей меня еще искать. Я сразу обрадовался, значит, мама пришла, наконец-то ей меня отдадут.

Я сидел на стуле, сидел долго-долго, пока опять не пришла няня. Она повела меня куда-то по коридору, где в конце была белая дверь, и я подумал, что за этой дверью стоит мама.

Няня приоткрыла дверь и что-то спросила. А я поднял глаза и прочитал надпись большими красными буквами под потолком: «Операционная». И сразу понял – нет там никакой мамы. Понял, что за этими дверями и делают ту самую операцию, которой меня

все пугали. Тут мне стало так страшно, как никогда еще не было. Так, что захотелось убежать.

Из-за двери показалась тетя в белом халате, в белом колпаке и с белой повязкой на лице, у нее только глаза были видны. Она больно взяла меня за плечо и приказала: «Пойдем со мной». Сначала мы вошли в комнату, всю в белой плитке, с умывальниками на стене. В конце комнаты тоже была дверь, и за этой дверью раздавались какие-то странные, очень неприятные звуки. Тетя в белом открыла эту дверь и подтолкнула меня вперед.

Там стояли кресла, много кресел, в которых сидели дети. Над этими детьми стояли врачи с повязками на лицах и что-то с ними такое делали, отчего дети громко стонали, а врачи громко звенели своими инструментами. Когда я проходил мимо первого кресла, то увидел, как у мальчика, который там сидел, врач длинными щипцами достал изо рта огромную липкую кровавую сосиску, а потом бросил ее в таз, и подумал, что этот мальчик, наверное, сейчас умрет. Мне опять захотелось убежать, но тетя еще сильнее сжала плечо и зашептала прямо в ухо:

– Так, иди, не упирайся!

И мы пошли с ней в самый дальний угол мимо всех этих стонущих детей, мимо всех тазов, полных кровавыми сосисками, мимо столиков, застеленных рыжей клеенкой, с которых стекали какие-то темно-красные сопли туда, где стояло пустое черное кресло со страшными желтыми ремнями.

Меня усадили в это кресло, туго привязали руки ремнями и вставили что-то в рот, отчего он перестал закрываться. А когда включили яркий свет, то напротив села незнакомая тетя врач в очках. У нее тоже была повязка на лице, поэтому я видел только ее очки и руки в перчатках, и когда она поднесла руки прямо к моим глазам, я вдруг увидел, что у нее не хватает одного пальца. Она взяла шприц с огромной иголкой и этим шприцом, и этой страшной рукой без пальца полезла мне в рот. И сразу стала делать мне так больно, что нельзя было терпеть, а кричать я не мог и поэтому застонал точно так же, как и другие дети.

– Лампу поправьте, ни черта не видно! – Очень зло сказала тетя врач. – Да еще и шприц течет, не могли нормальный дать?

Она наконец вытащила этот свой шприц и скомандовала кому-то:

– Голову держите ему!

Потом она взяла в руку какую-то железку, придвинулась так близко, что я увидел свое отражение у нее в очках, и тут у меня в горле что-то захрустело, порвалось, забулькало, и я рванулся, забился, изо всех сил пытаясь вырваться из этих ремней, из этих

сильных рук, державших меня.

Не хочу, не хочу вашего мороженого, не хочу ваш юг, я никогда больше не буду болеть, только отпустите, отпустите, не мучайте меня больше!..

Я лежал на кровати, а рядом, на соседней, лежала девочка. Она была большая, даже больше тех девочек, которые обо мне заботились. Ее кровать была так близко, что, если протянуть руку, можно было дотронуться. Девочка лежала на спине, смотрела в потолок, а во рту у нее были ножницы. А может, даже и не ножницы, а та страшная штука, которая наполовину ножницы, наполовину щипцы. И эти ножницы были привязаны бинтом вокруг ее головы.

Девочка лежала и пела. Я сначала никак не мог поверить, что она поет, и, хоть мне и запретили разговаривать, я шепотом спросил:

– Ты плачешь?

Она помотала головой и произнесла:

– А-а!

Ножницы мешали ей говорить. Я опять спросил:

– А что ты делаешь?

– А-па-у! – ответила девочка и скосила глаза на меня, – па-у!

– Поешь? – удивился я.

Девочка кивнула и прикрыла глаза.

– И тебе что, – никак не мог поверить я, – совсем не больно?

– А-а! – помотала она головой и опять запела.

Так мы лежали долго, она пела, а я на нее смотрел. Потом пришли две няни с такой кроватью на колесах и сказали:

– Ну что, Зоя Космодемьянская, поехали!

И увезли ее куда-то.

А еще через два дня, сразу после завтрака, няня принесла мою одежду и приказала собираться.

Когда я переоделся, одна из тех девочек, которые обо мне заботились, протянула очень красивый цветок:

– Вот, держи! Это анютины глазки, я их для тебя специально на клумбе сорвала, отдай маме своей! Только скажи, чтобы она их в воду поставила, а то завянут. Мы же тебе говорили, что мама за тобой придет, а ты не верил.

Мама стояла на первом этаже вместе с тетей Юлей, что-то ей говорила и улыбалась. Потом она увидела меня и крикнула:

– Алеша!

Я подошел к ней, выставив вперед руку с цветком:

– Мама, вот тебе цветочек. Он называется анютины глазки. Девочки сказали, нужно обязательно его поставить в воду, чтобы он не завял.

И отправился к выходу на улицу.

Мы ехали в такси, я смотрел в окно, а мама негромко говорила тете Юле:

– Слушай, ничего не понимаю, думала, Алешка ко мне бросится, а он даже глаз не поднимает. Да и голос какой-то у него чужой, тоненький.

А тетя Юля ей отвечала:

– Танька, так бывает. Бывает, что и взрослые от боли и горя свихиваются. А голос – ему же там, наверное, все раскромсали. Да ты не переживай, пройдет.

А я смотрел в окно и все думал о той девочке с ножницами во рту. Куда ее тогда повезли? Что она сейчас делает?

Дома я немного походил по комнатам, полистал книжки, а потом спросил:

– Мама, где мой петушок на палочке?

И мама сказала:

– Знаешь, на твоего петушка кто-то книгу тяжелую положил и раздавил. Пришлось выбросить, от него ведь только крошки остались.

– А палочка? – снова спросил я. – Палочка от него, она где?

– Да и палочку тоже выбросили, – пожала плечами мама. – Зачем тебе эта палочка?

– А куда, – я все никак не мог поверить, – куда его выбросили?

– Как куда? – удивилась мама. – В мусоропровод, куда же еще!

Было уже поздно, я долго лежал в кровати, все представлял эти блестящие красные крошки, которые остались от самого красивого, самого лучшего, самого дорогого моего петушка. И как их берут и высыпают в мусоропровод. И вдруг я горько заплакал, впервые за эти несколько дней. И плакал долго, пока не уснул.

Москва, 06.02.2018.

Мария Галина. Рыбы бессловесные твари [12]

Лично я любила ходить в детскую поликлинику, потому что там были рыбки. Гуппи в аквариуме. Цвета старого серебра, с яркими желтыми пятнами у основания хвоста. Мне они казались прекрасными.

Мы шли мимо пышных каштанов, отбрасывающих четкие тени, мимо киосков с мороженым, которое мне не разрешалось есть, мимо универмага, из-за стеклянных витрин которого на прохожих равнодушно смотрели искусственные женщины в шляпках и нарядные искусственные дети… Когда бабушке было лень идти, мы ехали на такси.

Задним числом понимаю, что в детстве у меня было не так уж много развлечений, если ради этих самых гуппи я соглашалась, чтобы мне в горло лезли холодной плоской ложкой и больно давили на корень языка. То есть я лет с пяти была готова к тому, что за удовольствия надо расплачиваться, и расплата эта придавала удовольствию некоторую законченность.

Впрочем, один раз такой поход закончился радикально: вместо кабинета с рыбками меня отвели в кабинет с большим кожаным креслом («Садись, сейчас посмотрим горлышко, открой ротик») и зачем-то пристегнули руки к подлокотникам. Я ничего не заподозрила, и это делает честь моему идиотизму и тотальной доверчивости – рот я открыла. После чего там сначала что-то сделали длинной иголкой, а потом такими длинными загнутыми щипцами – про щипцы я не вспоминала, пока не начала это писать. Зато теперь вот вспомнила. Похожими щипцами из клетки вынимают крыс, чтобы убивать их для науки – так называемый «острый опыт».

Онемевшим горлом, захлебываясь кровью, я смогла только пробормотать укоризненно – вы же взрослые, вы же должны понимать, как мне больно. После чего мне пообещали купить рыбок после того, как заберут домой. Но рыбки меня в тот момент не очень радовали.

Я потом выучилась на ихтиолога, но это, по-моему, случайное совпадение.

В палате, куда меня положили, обещая забрать домой завтра и тут же, тут же купить рыбок, незнакомая черноволосая, с очень красным лицом девочка моих лет кашляла на соседней койке; врач на осмотре говорила, что у нее в горле застряла рыбья кость, и тоже лезла ей в горло ложкой. Мне ее не было жалко.

У девочки оказалась корь, кашляла она из-за высыпаний на слизистой. Корью я до того не болела. Да, все так, я заразилась корью, но уже после того, как меня прооперировали: аппендицит. Вот только не надо смеяться: после удаления гланд часто воспаляется аппендикс, это как-то связано с иммунным барьером, что-то они такое делают вместе, трудятся, обезвреживают инфекции. И аппендикс, оставшись один на один с превратностями этого мира, идет вразнос.

Удивительно, что моя бабушка, некоторым образом врач, этого не знала, и по совету первой скорой клала мне на живот грелку, что при аппендиците категорически противопоказано, пока третья скорая не поставила все-таки правильный диагноз и не увезла меня с собой.

Дальше какая-то суета, опять эта мерзкая койка (уже другая, но в моем сознании они смешались), попробуй надуть этот шарик, а теперь считай до десяти, и опа, просыпаешься, а у тебя на животе мешок с песком и вцепившийся в кожу ряд металлических скобок, и мерзкий сладковатый вкус во рту. И пить нельзя, но можно дольку апельсина.

«Мы подарили хирургу хрустальную вазу, доверху наполненную конфетами», – укоризненно говорила бабушка, и я понимала, что обхожусь очень недешево.

Школу я в том году, понятное дело, пропустила, и никакого приема в первый класс с торжественной линейкой, белым фартуком и прочими прибамбасами у меня так и не было, поскольку я пошла сразу в третий – за этот год я перечитала столько, что для второго класса уже не годилась. Поэтому в школу пошла совершенной идиоткой, не знающей простейших навыков общения, но тараторившей наизусть великую грузинскую поэму «Витязь в тигровой шкуре».

Зато длинные истории, которые я рассказывала себе, чтобы не свихнуться со скуки, привели в конце концов к закономерному результату, я стала более-менее удачливым писателем, умеющим вытянуть из ничего относительно связную сюжетную историю; уже потом, покопавшись в литературных биографиях, я без особого удивления обнаружила подобный опыт у многих своих коллег, причем писатели-фантасты по крайней мере в этом смысле могли дать фору своим собратьям-реалистам. Уж если придумывать что-то во время вынужденного безделья, то нечто такое, от чего замирает бедный дух, уж если читать, валяясь на сбитой постели, покуда твои сверстники визжат и возятся во дворе, то про путешествия и приключения.

Пожалуй, на этом можно было бы закончить, если бы бабушке не вздумалось меня оздоровить и я по очень большому блату не

отправилась по путевке в санаторий. Он располагался где-то под Киевом, в качестве приманки фигурировал прекрасный сосновый лес и занятия физкультурой, и, кажется, какие-то уроки тоже, чтобы догнать школу. Ничего из этого я не помню, хотя пару дней там все-таки провела. Помню только такую же палату, как в больнице (больницах), много коек и каких-то девочек, которым я пыталась рассказывать страшные истории. Взамен одна из них сдавленным голосом сказала, что у нее есть фигурка, которая светится в темноте. Надо отдать должное моему апломбу и тупому скептицизму – я ей не поверила, о чем заявила громко и решительно, и тогда она, наполовину прикрыв сокровище одеялом, чтобы мрак был гуще, показала нечто, тускло светящееся зеленоватым светом. Фосфорные фигурки тогда были в моде – это был то ли орел, то ли олень. Других, кажется, не выпускали. Потом их признали ядовитыми и выпускать перестали.

Остальное помню плохо, потому что у меня подскочила температура, и срочно вызванная медперсоналом бабушка извлекла меня из этого странного места. С тех пор температура у меня всегда поднималась в стрессовых ситуациях, очень полезное качество, которое меня не раз выручало, выручило и в тот раз – санаторий оказался туберкулезным. Останься я в нем подольше, было бы как с корью.

Что меня до сих пор удивляет во всей этой истории, это слепое, неоправданное доверие к взрослым, к их словам и поступкам, сродни доверию собаки, которую люди в белых халатах по коридору ведут на опыты. Почему я не вцепилась в руку этой обманувшей меня паскудины («открой ротик, сейчас посмотрим горлышко»)? Почему не укусила ее? Почему не рассматривала возможность бунта? Почему вообще соглашалась туда ходить? Из-за сраных рыбок?

Механизмы этой робкой покорности по отношению к вышестоящим, к взрослым, которые знают и понимают больше, чем ты, к тем, у которых в руках что-то блестящее и металлическое, к тем, кто в форме, к тем, кто говорит властным голосом, вообще штука занятная. Детям-то простительно.

Впрочем, подозреваю, что плохих девочек просто кормят какими-то успокаивающими таблетками… Быть может, меня и кормили успокаивающими таблетками – в таких случаях употребляют тактичное словосочетание «возбудимый ребенок». Мне вообще давали много разных таблеток. Наверное, надо было их выплевывать, как делают умные люди в дурке.

Потом мы все-таки поехали на Куреневку покупать рыбок. И я узнала, что гуппи могут быть гораздо, гораздо красивее, чем в

поликлинике. Во-первых, да, вуалехвостые. Во-вторых, неоновые (есть еще рыбки-неонки, это другие рыбки, хотя примерно из одного региона, из Латинской Америки). В-третьих, бархатные, черные. Продавцы на рынке наклеивали на заднюю стенку аквариума черную бумагу, чтобы гуппи лучше играли радужным своим опереньем, разноцветными своими телами, светящимися, словно запретные фосфорные фигурки в страшном мраке санаторной палаты.

Гуппи в поликлинике были самые примитивные, выродившиеся.

А на Куреневке, да, гуппи были шикарные. Я уже не говорю о полосатых и юрких данио-рерио, этих аквариумных стоиках. О плоских скаляриях, тоже полосатых, но в вертикальную полосу. О покрытых нежной жемчужной сыпью гурами. О меченосцах, у которых передняя половина тела красная, а задняя – черная, о других меченосцах, более редких, розово-зеленых… Кстати, меченосцы, как и гуппи, обладают выраженным половым диморфизмом – вырост на хвосте, этот самый меч, есть только у самцов. Правда, расцветкой они победнее, чем гуппи. Но тут уж ничего не поделаешь.

Алексей Цветков. Отставка из рая [13]

Один из самых центральных эпизодов моей жизни – с трех до десяти лет, это время я провел в Евпатории в костно-туберкулезном санатории Министерства обороны, в горизонтальном положении, кроме последних месяцев. Если Фрейд хоть в чем-то прав и раннее детство накладывает отпечаток на всю последующую жизнь, то в моем случае это сработало, в недрах моей психологии навсегда осталось что-то от марсианского пришельца. Потому что обычная жизнь вокруг – не та, из которой я родом.

С трех лет я помню – вернее помнил – себя практически непрерывно, а до этого сохранились отдельные картинки. Мы тогда жили в Москве, где отец учился в военной академии им. Фрунзе. Я помню комнату в коммуналке, где-то на Покровке, которая казалась мне огромной, а на самом деле была крошечной и тесной, и еще я выучил все буквы в слове «аптека» и приводил родителей в восторг чтением каждой аптечной вывески, которая попадалась мне на глаза.

И еще я помню поезд, себя в поезде, когда меня уже с диагнозом везли в Евпаторию. В последующие годы, когда я слышал или читал о жизни «ходячих», поезд был чуть ли не единственной частью этой жизни, которую я немного представлял себе изнутри.

А теперь ты лежишь, годами, все время на спине, потому что упакован в раковину из лакированного гипса и марли, это называется гипсовая кроватка, и о том, чтобы повернуться на бок, даже мысль в голову не приходит. К тому же ты привязан для страховки специальной сбруей, которая называется лифчик, и когда, по прошествии нескольких лет, ты узнаешь, что у слова «лифчик» есть и другое значение, это кажется уморительно смешным. Первые месяцы ты плачешь, потому что маленький, смотришь страшные сны и писаешься под утро, но тебя не ругают, здесь к такому давно привыкли.

Впрочем, вскоре уже не так все страшно. Лежачая жизнь полна для ребенка своих приключений, о которых вертикальные и не подозревают. Самым главным в ней были переезды из палаты в палату – например, временная эвакуация из нашей «салатной» в «нижний зал», который показался мне шедевром интерьера. В других палатах были другие шкафы, а в них другие игрушки, на стенах висели другие портреты Сталина и мишки в сосновом бору, а еще твою койку почти наверняка ставили рядом с кем-нибудь новым, кто знал о наружном мире что-то такое, о чем ты и

не догадывался. Мы складывали мир из кусочков калейдоскопного стекла, каждый владел небольшим, но своим собственным, не обязательно имевшим полное соответствие реальности, и поэтому мир существовал во множестве непохожих вариантов.

Путешествия бывали и посерьезнее. Например, на лето нас вывозили на веранду, оттуда сквозь перила можно было увидеть дворовую кошку, кошка была чудом и праздником, однажды нам даже принесли котенка посмотреть и потрогать. С тех пор я на кошках помешался на всю жизнь. Но были, конечно, и птицы, они вили гнезда под карнизом и иногда роняли нам прямо в койку всякую дохлую растительность – то-то было забавы ее анализировать и гербаризировать. А уж если что-то росло возле перил – так я впервые увидел паслен и тщательно объел все ягоды, до которых мог дотянуться, это я потом прочитал, что он ядовитый, а тогда съедалось все, что можно было разжевать. А зимой нам показывали и давали потрогать снег – в Евпатории он редкость, его сгребали с подоконника и даже лепили крохотных снеговиков.

Поскольку перемещения в пространстве в эти годы были незначительными, у меня совсем атрофировалось чувство перспективы – мы ведь не помним, что оно не врожденное, а дается практикой. В центре Евпатории, например, есть большая церковь, она была действующей, кажется, все годы советской власти, но поскольку я понятия не имел о церквах и их архитектуре, она с нашей веранды казалась мне игрушечным дворцом восточного падишаха, о каких нам воспитательницы читали сказки. В одной из таких сказок кто-то умер, воспитательница в замешательстве стала объяснять, что такое смерть, и соврала, что люди живут до ста лет. Меня это тогда нисколько не беспокоило, я боялся не смерти, а того страшного, который жил под койкой, куда заглянуть самому не было никакой возможности, а взрослых даже просить не пытался, трепетал услышать ответ. Вроде крысы, у них была плохая репутация, а настоящих я до той поры не видел. С тех пор как увидел, вполне к ним расположен, никаких претензий.

С веранды было видно море, но идеи горизонта тоже не было, и море казалось вертикальной полоской там, где небо упиралось в земной круг. На самом деле море было недалеко, и было видно, как в него заходят люди и плавают в нем, и приходилось ломать голову, как можно заходить в такое вертикальное, как будто в стенные обои.

Перспективы не было не только пространственной, но и временной. Не было самой идеи возраста, мы ведь там были

практически все одногодки, дошкольники, и мир делился не на возрастные категории, а просто на две половины – лежачих детей и ходячих взрослых. Эти последние, впрочем, тоже делились на две части: постоянную, персонал санатория, и переменную, родителей, которые иногда приезжали с конфетами и игрушками. Отношение к этим родителям, как ни печально, было прохладное и очень потребительское, сравнивали передачи – у кого игрушки лучше. Одна нянечка, приметив мою мать, сделала свои выводы и потом при всех детях ласково поддразнивала меня – дескать, какой Алеша у нас хорошенький еврейчик. Я был симпатичное дитя и к похвалам привык, но «еврейчик» озадачивал.

Однажды какая-то из воспитательниц заговорила о возрасте, и я спросил, сколько мне лет. Оказалось, четыре с половиной, но было совершенно непонятно, хорошо это или плохо и что с этим делать. Нам ведь, кстати, и рост не помню, чтобы измеряли, для горизонтальных он значения не имеет. Про возраст я сразу забыл до самого начала школы.

С какого-то времени нас стали вывозить на летние месяцы к морю в открытые павильоны, тогда я понял, как оно устроено. Нас даже иногда клали в воду у самого берега, можно было там подрыгать ногами и похлопать руками. А однажды поднялась буря, самая настоящая и, как я понимаю, грозившая реальной опасностью, нас принялись в панике эвакуировать в корпус, а я ликовал, надеясь остаться на мостике последним, и под одеялом потом читал с заныканным фонариком «Таинственный остров». Я, впрочем, забегаю, сначала мы пошли в школу. Читать я выучился еще до школы, собственноручно, спрашивая у взрослых про незнакомые буквы, но тогда еще по складам, и был очень уязвлен при поступлении в первый класс, когда там оказался один мальчик, читавший лучше меня. Мы с ним по очереди читали остальным детям вслух книжку про каких-то советских матросов в каком-то плавании социалистического труда, но мое чтение народу нравилось меньше.

Школа началась так. Первого сентября нас из нашей «салатной» палаты, то есть достигших призывного возраста, перевезли в «сиреневую» вместе с другими незнакомыми детьми, и там учительница Мария Львовна стала учить нас грамоте и арифметике. Сейчас убей не вспомню, как мы лежа управлялись с перьями и чернильницами, но как-то управлялись, и хотя мои фиолетовые мне нравились, я до зубовного скрежета завидовал М. Л. – у нее были красные, которыми она нам ставила отметки. Я страстно возжелал и себе такие, даже поставил вопрос перед родителями в ходе очередного свидания, но М. Л. воспретила. Ну а дальше было как у всех, включая прием в пионеры, опять же

горизонтально, до самой выписки. Я стал жадно поглощать книжки, какие попадали под руку – кроме упомянутого Жюль Верна попал еще Гаршин, я был очень впечатлен, но слово «проститутка» долго оставалось загадкой. Я завел скрупулезную тетрадку со списком прочитанных книг и, когда он превысил полсотни, ликовал как дитя, да ведь и был дитя. Одна воспитательница, видя мой энтузиазм, обещала принести мне свою любимую книгу «Это было под Ровно» – я был безумно польщен, но расслышал как «это было подробно» и терялся в догадках. Оказалась какая-то мутотень про партизанские подвиги, я так никогда и не сумел полюбить этот жанр.

И вот еще, наверное, о чем нужно вспомнить: о сексе. Тут тоже было не так, как у всех детей, – нас ведь держали без разделения полов, по крайней мере до моего десятилетия, мы вместе ходили по-большому и маленькому, анатомическую разницу наблюдали ежедневно, тем более что девочек подмывали марганцовкой, но ни о чем другом не догадывались. Однажды рядом со мной положили мальчика, только что прибывшего «с большой земли», и он стал рассказывать небылицы о том, откуда берутся дети и какие меры для этого принимают взрослые (терминологию я освоил позже, уже на воле). Я гневно отмел его теорию как очевидную мерзость и поклеп. Я, конечно, читал про любовь в книжках, но глупостей там не упоминали (Гаршин не впрок), и вообще это было из жизни инопланетян, а из взрослых я знал только персонал и родителей, и мысль, что они, с их мудрыми серьезными лицами, способны принимать подобные позы, казалась смехотворной. Тем более что они, по их словам, тоже когда-то были пионерами, а пионер себе такого не позволит, он ходит в походы и друг пернатых.

Но затем был эпизод прозрения – в уже упомянутом приморском павильоне, там не было банного помещения, и нас мыли на топчане, установленном посреди общего лежбища. И вдруг туда положили девочку – она была ко всему прочему блондинка, что было отдельным открытием, потому что всех до второго класса включительно, а я тоже был тогда второклассник, стригли под ноль. Но у этой, третьеклассницы, волосы были уже отпущены, и она как-то угодила под солнечные лучи, показалось, что вся золотая в этих водяных крапинках. И я вдруг понял, что она не такая, как мы, и что рано или поздно с этим придется что-то делать.

Раз в неделю привозили кино, и если это не было «По щучьему велению», то наверняка «Руслан и Людмила», музыка Глинки просверлила для себя в моем мозгу специальную дырочку. Кино я любил, потому что оба фильма знал наизусть и уже ничего

там не боялся. Черномор из этого «Руслана», замечательный человек и персонаж по имени Володя, теперь у меня во френдах в ЖЖ.

Апофеозом всей этой эпопеи было повторное обучение прямохождению. Мы обычно овладеваем этим искусством в возрасте, когда не умеем и двух слов связать. Мне кажется, что я еще помню, то есть, вернее, помню, что когда-то помнил: мать сидит на корточках, протянув ко мне руки, пока я пытаюсь одолеть бесконечные полметра. Но в девятилетнем возрасте отдаешь себе отчет в каждом движении и преодолении – единственное, с чем я могу сравнить это воспоминание, так это с обучением полету, как во сне, только труднее, потому что во сне на обучение уходят считанные минуты, а наяву без шишек не обходится. Вон там, шагах в десяти, лежит книжка или игрушка, или ползет божья коровка, которую надо взять в руки, понюхать, поморщиться и прочитать ей стандартную инструкцию, куда полететь и как там поступить. Раньше приходилось ждать милости от ходячих или бессильно плакать, но теперь ты бог. Ты подходишь к своей божьей коровке, ты даже не упал по дороге – отставляешь в сторону костыли и снисходительно гладишь насекомое по оранжевой пятнистой шкурке. Ты стремительнее его.

* * *

Годы спустя я прочитал «Волшебную гору» Томаса Манна и все узнал, хотя у него, конечно, все не так – персонажи взрослые, говорят об умном и с таким балластом символизма, что челюсти сводит, съедают каждый день много неизвестного и недоступного, а иногда вступают в половые отношения друг с другом. Кроме того, все они отправились в свой семилетний космический полет из прежней реальной жизни, уже до мелочей с ней знакомые, они не были инопланетными уроженцами, как я. Но в остальном все верно, другая жизнь в другом пространстве, этим здоровым и в голову не придет.

Мне приходило потом в голову, какой здесь контраст с судьбой Рубена Гонсалеса Гальего и адом, через который он прошел. Очевидно, у этого потустороннего мира есть изнанка, а мне повезло угодить с лицевой стороны.

Точнее всего как раз не у Манна, а в забытом романе Уэллса об ангеле, раненом и упавшем на землю, который потом уже никогда не мог вернуться.

* * *

Неудобно прибегать к затертым метафорам, но мой выход в мир вертикальных тел был похож на ситуацию, сложившуюся после грехопадения. В книжках все выглядело прекрасной фантазией, наяву каждый день стал трудом и преодолением.

Родители какое-то время жили в Симферополе, куда отец попросил советское войско перевести его ради близости ко мне, но потом его перебросили в Запорожье и там уволили в запас, явно против его воли. Он приехал за мной в санаторий, угостил в столовой пивом, которое мне страшно не понравилось, и отвез в это загадочное Запорожье, бесконечный проспект Ленина от Днепрогэса до Южного вокзала, я увидел магазины, в которых продавали сырки с изюмом и в ту пору еще разливали молоко в бидоны, я сам ходил туда с таким бидоном, а сметану разливали в банки. И еще я увидел пьяных, о которых знал из книжек. Ходячая жизнь оказалась непохожей на настоящую, она была вся из этих книжек.

Ну и школа, конечно. Я оказался настоящим магнитом для плохих мальчиков, потому что был для них прекрасной непуганой дичью. Они сразу научили меня всему плохому, что знали, в том числе обогатили лексикон, с четвертого класса пытались приохотить к курению, но это занятие я до времени отложил. До этого я ничего плохого вообще не знал и не мог себе позволить, а тут безошибочно выбрал в друзья самых отпетых. Мать кивала мне на соседских – смотри, какие интеллигентные у людей дети. Эти интеллигентные потом все сели, практически сразу после школы, а некоторые вернулись, выпили и сели по второму разу.

Да, родители хлебнули со мной горя. Они оказались в безвыходной ситуации, потому что стали инстанцией, выносящей запреты. Я прожил семь лет в мире, где запретов практически не было, нам ведь нечего было запрещать, у нас не было сил ни на что такое, что стоило бы запрета. Нам просто кое-что разрешали, а это ведь совсем наоборот – кошки, снег, море и птицы. Родителей следовало любить, это я понимал, но не знал, как и за что.

Приятным сюрпризом стал невиданный доселе младший брат, его любить было проще. Я рассказывал ему на ночь сказки и водил гулять. Однажды, когда он уже заснул, я вдруг вспомнил всю собственную жизнь с трех до десяти, в невероятных подробностях, почти день за днем. Я лежал и плакал, но радовался, что так хорошо все помню, и дал себе обещание когда-нибудь все это записать в тетрадку. Вот и верь после этого собственным обещаниям.

* * *

Вообще-то эта попытка описать свою нехитрую жизнь подтверждает мою давнюю догадку по поводу намерений и целей мемуаристов: эти тома пишутся для того, чтобы заставить аудиторию разделить свою любовь к себе самому, а вовсе не с целью извлечь урок из прошлого, обычно в мемуарном возрасте любые уроки уже бесполезны. Этот возраст для меня миновал, так и не наступив, приличного капитала самолюбия я так и не нажил. Похоже, что я все время пытался разгадать какую-то встроенную загадку, но коль скоро не разгадал, то излагать ход решения бесполезно, у каждого он все равно свой. Это не значит, что жизнь плохая, она хорошая, сравните хотя бы со смертью. Но все, что мне по-настоящему интересно в собственной, это семь горизонтальных лет в начале, друзья, которых удалось сберечь на десятилетия, и момент выхода за шлагбаум.

* * *

В годы моей евпаторийской горизонтальной инкубации, лет в пять или шесть, у меня сложилось отчетливо солипсистское мировоззрение, хотя слова такого я тогда, конечно, не знал. Если я верно помню, толчком к этому философскому повороту стал сон, который я помню до сих пор: как будто я иду с отцом и матерью (что само по себе было крайне странно, ходячим я себя ни в каких других снах тогда не видел) и мы проходим сквозь какую-то небольшую дверь в высоком заборе, а там огромный луг, на котором лежат люди в цветных одеждах, весело болтают, а между ними ходят звери, медведи, тигры и еще кто-то, и люди этим зверям улыбаются и гладят их. Никакого Исайи я, конечно, ни тогда, ни еще на протяжении лет двенадцати не читал. Но гораздо раньше я прочитал потом почти идентичную историю у Герберта Уэллса, только у него там все происходило наяву.

В сравнении с этим сном реальность с ее уколами, клизмами, манной кашей и отбоем (это было еще до школы, церкви на веранде и приморского павильона) казалась довольно бледной, и тогда зародилась мысль, что все ненастоящее, просто снится, только очень неумело, хуже, чем у меня с тиграми, и все эти взрослые тоже. Я думаю, что подобные всплески подозрительности посещают в этом возрасте многих детей (ни разу не пришло в голову кого-нибудь спросить), но моя ситуация была обострена сведениями о существовании якобы настоящего мира, вот этого самого, где люди ходят ногами, покупают в

магазинах маргарин и звонят друг другу по каким-то телефонам. Не то чтобы я и в этот мир верил до конца, но сама множественность и вариантность миров усугубляла подозрения. И это было страшно, еще страшнее крыс под кроватью, которые ведь тоже снились.

Если у жизни и есть урок, то это освобождение – от страха. Я все больше убеждаюсь в том, что жизнь настоящая.

Мне понравилось быть человеком. И еще живы мои замечательные друзья, без которых я бы им не стал.

И еще спасибо кошкам – за то, что первые научили меня любить всех остальных. По-моему, у меня получилось.

Женя Снежкина. Кривой рот [14]

У меня кривой рот, и я ы-ы-ы. Я держусь за мамин палец, ы-ы-ы, мы идем к забору детсадовской дачи, и совсем скоро она окажется по ту сторону сетки-рабицы, а я останусь. Как я сейчас понимаю, мама была на раннем сроке беременности, поэтому ее руки отекли, и по обе стороны массивного обручального кольца образовались два бугорка. Наверное, мое «ы-ы-ы» должно было сильно ее раздражать. Конец родительского дня. Мы идем к забору. Ы-ы-ы.

Я цепляюсь за мать, а отец давит на кнопку, и на фотографии я навсегда останусь такой – с перекошенным ртом, ревущей. Он это снимал, значит, видел, как я плакала. Видел и ничего не сделал. Остается только ы-ы-ы, потому что в три года я еще не могла сказать: «Мамочка, забери меня отсюда».

В систему общественного воспитания меня отдали в ясельном возрасте, и я не знала, что бывает как-то иначе.

И вот родительские руки в последний раз коснулись меня, точнее, слегка шлепнули: «Женька, ну что за руки-крюки, разве можно так долго копаться с этими рейтузами!», нужно войти в прохладное, подсвеченное ртутными лампами помещение группы. С этой секунды мое тело переставало принадлежать мне, с ним в любой момент могли сделать что угодно.

Например, могла прийти врачиха из зубного кабинета. Тогда нужно было постараться стать невидимым – вжаться в стенку, спрятаться за стеллаж или под стол, сделать вид, что ты увлечен игрой с плюшевым зайкой или, на худой конец, просто закрыть глаза. Но иногда это не срабатывало, и меня вели в кабинет на втором этаже и сажали в белое кресло.

И я намертво сжимала зубы. Держалась, как отважный бультерьер. Так, что мои челюсти не могли расцепить врач, медсестра и прибежавшая на выручку воспитательница. Они пальцами старались залезть ко мне в рот с криками «Женя, тебе не больно! Не больно! Не бо-о-ольно!». Но это было бесполезно. Потом они звонили маме, та приезжала и начинала стыдить: «Ну что ты мешаешь людям работать. Скандал устроила…»

И никто не защитил.

Единственный ребенок в нашей группе, которого действительно защищали, был Митька. Он был ужасно худой, один из самых маленьких, с огромными ушами и заячьей губой. Губа эта у него немного вздергивалась вверх, когда он нервничал. При нем была мама. Митенька был ее единственным и поздним ребенком (эту информацию мы получили из подслушанных

разговоров родителей), светом в окошке, к тому же очень болезненным и ранимым, плюс неудачная операция, изуродовавшая мальчику лицо. Поэтому мать бросила все и устроилась работать в детский сад нянькой. Она пристально следила, сколько чего он съел, подкармливала Митьку у нас на глазах домашним, вмешивалась во все наши споры и игры: «Митя давно не водил! Поделись с Митей!» Как же люто мы его ненавидели! Работа у нянек, как и воспитательниц, была посменной, так что, когда мамаши не было рядом, мы Митьку били. Загоняли его в угол, пристально смотрели на него и ждали, когда начнет дергаться отвратительная верхняя губа. И вот тогда…

Однажды мы с одногруппником Санькой во время тихого часа обменивались тайным знанием, как выглядят гениталии друг друга.

Нас застукала нянька. Та самая, Митькина мама. С воплем «ну-ка, ну-ка!» она осела на край моей раскладушки, приложила руку к груди, возвела глаза к потолку, а губы сложила в куриную жопку. Она немедленно позвала воспиталок, и на нас с Санькой посыпалось: «Что это такое? Что это такое, я тебя спрашиваю?! Кто тебя этому научил? А почему только Саньке это показываешь? Давай я тебя перед всей группой голой поставлю! Мерзость какая! Даже алкоголики себя так не ведут!»

На вечерней прогулке все они выстроились в скорбящих позах и, скривив губы, сообщали каждому родителю, пришедшему за ребенком: «У нас ЧП!» Санька тогда повел себя по-настоящему храбро: когда отец его вытаскивал из сада за ухо, он, рискуя ухом, все-таки обернулся ко мне и посмотрел мне в глаза.

Санька вообще был упертый, и его часто наказывали. Одним из видов наказания за разговоры в тихий час было стоять посреди группы в одних трусах и держать в руках свернутые матрас и одеяло. Санька мог стоять так очень долго. Уже и воспиталкам надоедало, и они начинали уламывать Саньку: «Ну скажи, что больше так не будешь, и сможешь идти спать». Но тот стоял и держал свои матрас с одеялом, упрямо сжав зубы. Точно такое же выражение лица у него было в гробу. В пьяной драке ему проломили голову кастетом.

Люба Гурова. Витамин из склянки [15]

Смотрю свои детские фотографии. В основном любительские, снимал и печатал отец. Та девочка и вправду мила. Где она сейчас? Что от нее осталось?

Спустя сорок лет я, мой собственный ненадежный свидетель, стараюсь не говорить, чего не помню. Из этого «не помню» мое правдивое повествование почти сплошь и состоит.

Вот снимок, не любительский, профессиональный: я сижу, платье в горошек, брови домиком, рядом гигантский казенный медведь. Мы с медведем разливаем чай по настоящим игрушечным чашкам. Счастливыми не выглядим. Фотография сделана дорого, в цвете. На моей голове золотистые кудри и завязанный воспитательницей бант.

Одна воспитательница часто спрашивала, завивает ли мне мама локоны (так и выучила это слово). Она же хотела знать, откуда у меня такие густые ресницы. Тоже комплимент. Однажды пошутила, что мы такие с ней друзья, что она оставит меня себе, не отдаст маме. Мы стоим на лестнице – тут полоса натертого рыжей мастикой грубого паркета, тут ковровая дорожка, прижатая железной штангой… Чужая тетя обнимает меня и говорит о любви и дружбе, я надеюсь, что это шутка и что меня сию секунду выпустят. Вижу себя со стороны: так ласковая трусливая собака жмется и всем телом выражает неловкость перед лицом чужого хамства, когда кто-то доминантный хватает ее за холку. Опыт расслоения значений.

Опыт неразличимости. Тихий час, меня пришли забрать домой. Я на руках у воспитательницы, с большой высоты смотрю на длинный ряд стульев – там разложена наша одежка. Показываю на свой стул, воспитательница нагибается к соседнему и помогает мне одеться. Надеваю одежду другой девочки. Те же колготки в рубчик, то же серенькое платье с красным воротничком. Детский магазин «Смена» у нас на Соколе вырастил меня стихийным платоником: идея мяча и ее земные воплощения (красный с черным пупком, синий с полосой по экватору), идея тетради (на обложке гимн или таблица умножения), идея точилки (красная целлулоидная рыбка, всегда на витрине канцтоваров с первого до последнего класса школы).

Карандашей цветных и разных хватало. В подготовительной группе детсада праздновали шестьдесят лет революции, и надо было нарисовать соответствующую картинку. Мне достался карандаш розового цвета с оттенком сиреневого, и я покрыла этим цветом весь лист. Помню свой восторг! Связи с революцией

не помню. Все эти юбилеи открыли мне факт смены веков. Ленин пожил в двух веках – нашем и прошлом. Я посчитала, сколько мне будет, когда наступит двадцать первый век. Оказалось – двадцать девять. Цифра огромная до равнодушия. Всем взрослым было примерно по столько, а я не планировала быть взрослой.

Отказывалась ли я туда ходить? Зимой в темноте никто не хочет просыпаться, но как-то в полусне шел процесс продевания меня в колготки-рейтузы-шубу-шапку-шарф-варежки (на резинке приделаны к петле на шубе), потом валенки с калошами – и как их потом не путали в саду? – и вот я на санках, и меня везут. Прекрасно было это скольжение по Новопесчаной, не считая гадкого скрипа, когда случался голый асфальт. Санки, когда не возили детей в сад, стояли у дверей квартир, и здесь не бывало неожиданностей, все как завещал Платон: дощечки поперечные или продольные, красно-желтые или сине-зеленые, либо со спинкой из того же алюминия, что полозья, либо без.

Навожу-навожу резкость. Вот спальня: классические окна с полукруглым верхом, одна девочка гордится своим именем: Вероника. Хочу так назвать новую куклу, но следующая кукла мальчик, называется Алешей. Поперек окон на кронштейнах сетки для осыпающихся архитектурных излишеств. Небо ночное: значит, пятидневка.

На пятидневку было принято приносить гостинец из дома (такое название: гостинец). Мама в фольгу замотала нарезанный кружочками болгарский огурец и несколько шоколадных конфет из коробки «ассорти»: гладкий темный шоколад, начинка – желтоватая помадка либо красноватый джем. Эти «ассорти» в Москве не переводились, это был самый ходовой врачебный подарок.

Игры? Подруги? Один раз в шкафчике застрял резиновый поясок с железной пряжкой, его носили поверх шубы. Я дернула, пряжка вылетела мне в переносицу. Получилась на носу красивая галочка-шрам, я гордилась: мне нравились война и подвиги. В войну играли мальчики, я бы хотела с ними. Девочки играли в магазин и дочки-матери. А, вот что выяснилось: я плохой солдат, не умею со всеми кричать «ур-р-ра», так и не научилась: дефект речи.

Фольклор, конечно: «Топ, топ, топает скелет. Прямо к Мариванне в кабинет». И еще: «Внимание-внимание, говорит Германия. Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом. А Гитлер не давался и колбасой кидался».

Кажется, было скучновато. Однажды на меня нажаловались девочки, что я учила их есть снег. Действительно, снег из-под валенок давал ровные пластинки, в точности вафли.

Неприятностей не последовало, но помню чувство, когда стучат твои же товарищи. Жаркая смесь страха и обиды.

Из яслей не помню ничего. Из младшей группы детсада: огромная туалетная комната, пирамиды – стопки – горшков. Уходят под потолок, никогда в жизни доверху не добраться. Изумительное зрелище, готические высоты.

Непуганая горькими лекарствами и незнакомая с рыбьим жиром, получаю медицинского вида пузырек с резиновой затычкой (в таких водилась марганцовка) – и выпиваю. В нем – сладкая штучка на два глотка. Называется – витамин. Этот вкус мне больше не встречался, но когда Алиса отпивала из пузырька, думаю, знаю, что ей давали. Очень потом мечтала снова попробовать витамин из склянки.

Что ели? Много чего, и почти все – вкуснее, чем дома. Родители не умели готовить. Мама отлично пекла пироги и пирожные, папа любил котлеты из кулинарии, которые ему продавала женщина в фиолетовом берете с начесом. Котлеты назывались неуместно развеселым словом «люля», а больше не могу о них сказать ничего хорошего.

В детсаду бывала творожная запеканка со сгущенкой или сметаной. Хуже, когда в ту же запеканку попадали недоеденные накануне макароны, – они стекленели и напоминали пресноватых червей. Был толстый омлет, который делался на больших поддонах в духовке. Хорошая вещь, в ином виде яиц я не ела, не могла.

Зато в конце обеда компот. Компот – это вещь. Распаренный урюк, да и изюм годится, крупитчатая груша и мокрый чернослив. Красив и цвет – совсем янтарь.

Ну и курица с рисом. Ту же самую курицу, и все так же торчит обломок кости, до сих пор дают на обед в «Аэрофлоте», с тем же рисом, тем же вкусом. И народ берет. Я всегда думаю, что с большинством пассажиров мы из одного детсада: уж точно курицу следует рыбе предпочесть.

Полдник бывал от ужасного до прекрасного. Могли дать сладкого чаю с булкой (очень хорошо) или какао с печеньем юбилейным (пенку сдуть – и нормально), а могли и кипяченого молока. Дело не только в пенке: кипяченое молоко пахнет так, что тошнит. Однажды меня приговорили выпить – я сидела над этой высокой чашкой и плакала, но проглотить не могла. Отчаяние было полное, это помню хорошо. Вижу, как сейчас, перед собой тарелку: молочная лапша – та же история, тошнило сразу. Или вареная гречка, редкий и ценный продукт, напрочь убитый все тем же молоком.

Каким-то образом мама там поговорила, и мне дали

освобождение от молока. До сих пор им пользуюсь.

Сырники и сладкая гречневая размазня случались на ужин, а ужин хорош еще и тем, что значит – скоро домой.

Видно, время так и шло: четыре раза поесть, раза два погулять, час поспать – все это взявшись попарно за руки, да еще одевания-раздевания перед прогулкой, ведь почти всегда зима, а гулять мы ходили в сквер через дорогу… а там и час родительского разбора. К счастью, за мной всегда успевали – папа с мамой, если не было ночных дежурств, освобождались довольно рано.

И все же странно: не помню веселья.

Вот песенки. Все они были скучные, много повторов, липкие мелодии, навязчиво-бессмысленные слова: «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, этот край навек любимый, не расстанемся с тобой. Этот край навек любимый (мелодия жалостно нарастает), не расстанемся с тобой!»

Как же выглядит эта ракита? Почему она не ракета? Мучительны эти тупые загадки с неинтересными ответами в конце учебника.

Пели, учили стихи и танцы, строились по росту, выступали. Называлось «утренники» – помню, мама шила платье с блестками, и существует фотография, где я старательно кручусь в общем строю. Клеили мимозы из ваты на Восьмое марта. Наверняка танцевали польку Рахманинова, иначе бы ее начальные такты не вызывали в памяти все ту же рыжую мастику и все ту же шеренгу по двое. Чтобы мы ни делали – всегда надо построиться и взяться за руки по двое.

Сколько же лет я туда ходила?

Ну да, ну да, бабушек не было, декретный отпуск совсем короткий, и с полутора лет я проводила день в яслях, потом в саду. Можно сказать, воспитывалась. Осуществляла глобальный план обобществления советских детей.

Лишь совсем недавно задумалась – а жалко же. Родить ребенка, чтобы потом его целыми днями не видеть? А смысл? Многие мои ровесницы рвались от детей на работу, но не могли оторваться: не хотели расстаться, не хотели, чтобы чужая женщина кормила кашей и учила вытирать нос. Наверное, теперь рожают ребенка для себя, чтобы с ним что-то делать. Раньше, видимо, не так: рожали, чтобы был.

Мне, дошкольнице, не приходило в голову, что бывает иначе. Однако в школе обнаружилось, что в сад ходили не все. Это была тема разговоров между сверстниками: кто ходил в сад и ездил в лагерь, были выносливые, бывалые, приспособленные – в общем, плебеи. Кто сидел дома – неженки-аристократы. И те и другие

находили чем гордиться и чему завидовать.

Самая живая память о детсаде – я больна, папа пришел за мною рано, днем, и я еду у него на закорках домой, торжественная и счастливая, несмотря на температуру. В другой раз мы вместе идем к троллейбусу, а в троллейбусе я сую нос в его портфель, там пахнет яблоками: он успел зайти в магазин, дома сделаем бутерброды с сыром и будем пить чай.

Или вот: теплая, радостная картинка в духе советского импрессионизма. Маленькая комнатка, летняя дача. Окно открыто внутрь, на подоконнике банка с полевыми цветами. Легкий теплый ветер – створки хотят захлопнуться, опрокидывают склянку мне на платье. Платье из ацетата большой красоты – как и все в этой сцене, оно магически возникло и пропало, его больше не видели. Тревога сразу занимает все место в этой маленькой комнате, мир и покой летнего дня заполняется чем-то щемящим… Как во сне, мамы нет в этой картине, но я знаю, что этот сон про нее: это тайное свидание на детской даче. Летний детский сад на выезде.

Дача называлась Голицыно… Я в красивой юбочке, синей в складку, и изящная розочка вышита у пояса. Мы живем в огромном доме из красного кирпича, зубцы на стенах, как будто это старый кремль, звенигородский, скажем. Идем куда-то, как всегда, парами, взявшись за руки.

Еще кадр, как во сне. Конфеты необычайно красного цвета: красный целлофан, намотанный на золотую фольгу, – больше никогда не видела такой красоты, долго мечтала об этих пламенных конфетах. Как будто мне их показали, а попробовать не дали. Тоже мамин визит – мы с ней сидим на лугу, стоит жара, клонит в сон, и неизвестно откуда тревожное знание: мама не должна здесь быть, мы в запрещенной полосе, нас сейчас обнаружат, и не спрятаться, какая тоска.

Ее вариант того же сна: надела незнакомое платье, косынку и темные очки и приехала – чтобы что? Посмотреть из-за забора? (Когда говорим о детских учреждениях, всегда есть забор.) И вот она стоит в темных очках и незнакомом платье и смотрит на вереницу идущих попарно (и думает о чем? и чувствует что? и планирует что делать?), и вдруг ее дочь запинается, затем всматривается, затем решительно (или лунатично?) покидает строй и идет к ней. Конфуз и скандал, воспитатели набрасываются на шпионку-диверсантку: вас тут не должно быть! Исчезните! Но ребенка все же на руки выдают.

Очевидно, и эта пустая тихая комната, и красные конфеты в нелегальном поле – обстоятельства той конспиративной встречи. Отчетливо помню это знакомое по всей дальнейшей жизни

чувство жгучей неуверенности и щемящей тревоги: нас не должно здесь быть, мы заступили черту, сейчас нас погонят с позором…

При чем тут детский сад? Ни при чем.

Осталось одно из самых загадочных и прекрасных воспоминаний – платье большой красоты, больше его не видела, тихая комната тайных свиданий, красные конфеты магического происхождения, и мама как во сне – я ее не вижу, но она здесь; лучше не просыпаться, все рассыплется…

В пионерлагерь я первый раз поехала в шесть лет, с маминой подругой, которая в этот лагерь устроилась не то поварихой, не то уборщицей – хотела вывезти на природу свою дочку. Настя была меня старше на год, тете Жене на работе полагалась одна путевка – удалось получить и на меня. Лагерь был, говорят, в красивом месте – на Оке, возле усадьбы художника Поленова. Помню старую церковь – мимо нее мы часто ходили. Тетя Женя договорилась с местными насчет козьего молока для укрепления здоровья. Здоровье мое было довольно крепким, вот только козье молоко – парное, ароматное, с ароматом мелких блестящих козьих какашек, тут же повсюду разбросанных, – сильно его подрывало. Помню один поход за молоком, от дальнейших, хочу надеяться, была освобождена. Запах по сей день стоит в ноздрях, а что молоко такое сладкое, от этого только хуже.

В этом Поленове у меня болел живот и мне его промывали литром теплой воды с марганцовкой. Интересный опыт.

Раз заходила трава волнами, сел вертолет, из него вышел Никита Михалков. Каким образом я могла знать? Никаким. Никита Михалков летал над Окой, искал натуру. Я почему-то все прекрасно поняла и запомнила: должно быть, взрослые долго еще говорили об этом случае, повторяя ключевые слова.

Затем лагеря были каждый год еще пять лет. Летом восьмидесятого в честь Олимпиады смены в лагерях сделали длиннее – до сорока дней – чтобы детей в городе было поменьше. Ходили разговоры о том, что Москву освободили от подозрительного элемента, удалили нежелательных – от диссидентов до бродяг, – а заодно и детей, хотя зачем детей? Все равно я побывала в полупустых Лужниках, смотрела с папой какую-то непрестижную легкоатлетику. Больше всего меня волновал ананасовый сок в незнакомых пакетиках и надежды на еще какую-то непривычную мануфактуру. Но все, что удалось раздобыть, был бумажный козырек для обитателя трибун.

Гордилась большой ценностью, одеколоном «Красный мак». Так вот чем пахли, спустя четверть века, безумно популярные духи Kenzo! Душной июльской ночью и надеждой не услышать противный тонкий писк. Считалось, что они отгонят комаров, – я

в своем распоряжении имела целую бутылку и чувствовала себя бывалым лагерником.

Потом уже я умела читать, и были какие-то библиотеки… Венцом моей лагерной карьеры был выезд на Черное море. Мне было одиннадцать. Библиотекарша меня уважала, я часто приходила, брала большие стопки. Мой любимый жанр был «пламенные революционеры»: дореволюционная жизнь, красивые картинки, интеллигенты-супермены, приключения: как обмануть жандармов, как уйти от слежки, как напечатать на гектографе прокламацию, обшить юбку карманами для листовок и много чего в этом духе, вплоть до жизни в Швейцарии. Все это нравилось мне больше, чем подвиги пионеров-героев: те были из разряда посмертных мучеников, а революционеров почти всех ждал большой хеппи-энд.

Когда, покончив с «Мальчиком из Уржума», я взяла почитать биографию Семашко, библиотекарша вышла из-за прилавка на меня посмотреть.

Все-таки мне трудно это себе представить. Четыре недели. Отправляешь с чемоданом, надписанным «Люба Гурова, третий отряд». Никакой быстрой связи – телефонов нет. Пишешь письма. Где они, кстати? Ребенка вернут тебе через месяц. Я бы сошла с ума от беспокойства. Какое сильное, великолепное доверие к системе! Вот какую огромную вещь потеряли – есть о чем плакать.

Опыты множественности и неразличимости. Стопки горшков, ячейки, в которых хранились матрасы, ячейки для чемоданов в камере хранения. Чемоданы полагалось на время смены сдавать. Разрешались ли пионерам свидания с чемоданами? Помню так же мало, как про мытье и стирку.

Последний мой лагерь был на склоне, наверху кладбище, внизу пруд, посередине линейка, столовая и клуб. Подруги явно имелись: девочки имели привычку совместных прогулок в туалет. Вдумчивые поиски подходящего мягкого подорожника. Интриговали против какой-то несимпатичной девочки. Насыпали ей соли на простыню и пошли в кино. От этой соли ночью несимпатичная девочка должна была описаться. Совесть не давала мне покоя весь фильм, и я, собрав всех заговорщиц, убедила их отменить злодеяние. С несостоявшейся жертвой получился неловкий, неприятный разговор.

Жила как будто в полусне, задача – сохраниться. Все возможности памяти, наблюдательности, воображения и эмпатии – спали. Хорошо давалась бессмысленность. Утром встать, одеться, застелить постель. Потом в туалетный домик с полотенцем, зубной пастой и щеткой. Потом завтрак. А потом уже линейка? Зарядка – бывала зарядка – неужели до завтрака? Потом

занятия. То учили носить противогаз, то ходить строем, останавливаться на раз-два и рассчитываться на первого-второго. Конечно, хор: «У дороги чибис». Наконец, обед. Тихий час: полагалось быть в палатах, но если спать уже не заставляли, то читали. Я читала всей палате книжку про Джельсомино и украденный смех.

Это была школа одного навыка: умения переносить оглушительную скуку. Этот навык потом у меня пропал – к счастью, а то ведь и жизнь прохлопать недолго. Но отстраненность от собственных эмоций осталась навсегда, а умение открываться чувствам появилось в середине жизни, когда мой внутренний старик наконец сравнялся со своим паспортным возрастом. Мне было далеко за двадцать девять.

С молодости я подозревала недостаток характера в том, что не чувствовала себя несчастной в советской обстановке лагеря и сада. Разве не видны в этом плебейство и конформизм? Но с удивлением вижу, что и счастливой пионерки из меня не вышло. Оживляюсь, лишь вспоминая про еду и как родители за мною возвращались.

Лучшее, что помню из лагерной жизни, – это торжественное нарастание города, к которому приближалась наша автобусная колонна по Волоколамскому шоссе. Как сперва возникали кварталы спальных районов, потом все более и более столичные здания по сторонам дороги, наконец знакомые, любимые имперские здания в самом начале Ленинградского проспекта – и наконец сворачивали в сквер, где ждали родители, и боже мой, боже мой, родные теплые объятья, лучше, если мама в знакомой кофте, ничего нового тут не нужно, нужно все старое, теплое, знакомый запах родной подмышки, и больше ничего.

Андрей Бильжо. Тайны Егора [16]

Накануне Дня Победы, 9 мая, я забирал своего внука Егора из школы. Он учился тогда во втором классе. На школьной спортивной площадке, обнесенной высокой сеткой, под песню Булата Окуджавы из фильма «Белорусский вокзал» маршировали старшеклассники.

«А нам нужна всего одна победа,

Одна на всех, мы за ценой не постоим…» – доносилось из рупора.

Класс маршем проходил по периметру спортивной площадки, подходил к столу, за которым сидели директриса, физрук и завуч, кто-то один из старшеклассников рапортовал. И все маршировали дальше.

Мальчики были в школьной форме, а девочки почему-то в голубых мини-юбках и в киверах – головных уборах Отечественной войны 1812 года.

Я не выдержал, глядя на этот абсурд, и отпустил какую-то шутку.

Егор посмотрел строго на меня снизу вверх и твердо сказал: «Андрей, столько народу погибло во время войны. Что ж, и помаршировать нельзя?»

Прошли годы. Мальчик вырос и учился уже в другой школе. И вот однажды в минуты откровения он рассказал мне про свою первую учительницу, Наталью Владимировну.

Я помню эту Наталью Владимировну хорошо. С торчащим животом, она казалась беременной. Но по возрасту беременной она точно быть не могла. Немытые волосы сосульками едва достигали плеч. Глаза слегка навыкате на красноватом лице.

Тогда сказать что-то критическое в адрес Натальи Владимировны мальчику было невозможно. Тут же ты становился его врагом. Суждения ее не обсуждались! И вот оказывается…

Андрей, а знаешь, Наталья Владимировна перед завтраком показывала нам в классе кадры блокадного Ленинграда. Как умирали от голода дети. И мы все должны были смотреть на экран. Она пристально следила за этим.

Кто-то из детей плакал.

А потом мы ели подгоревшую рисовую кашу. Давясь. Наталья Владимировна доедала эту кашу за теми, кто не мог ее доесть.

А еще она подбирала упавший хлеб и съедала его, называя нас идиотами.

У нее был тайный чуланчик, в котором, кроме скелета, она

хранила сделанный своими руками из лего Московский Кремль. Крайне редко, когда у нее было хорошее настроение и приливы патриотизма носили положительный характер, она нас собирала, открывала эту темную тайную комнату и, показывая на Кремль, говорила: «Помните, дети, в этом Кремле работает любимый нами президент Владимир Владимирович Путин!» Потом делала паузу, смотрела на нашу реакцию и закрывала тайную комнату со скелетом и Кремлем с Путиным на ключ.

А еще, Андрей, у нас была учительница хореографии, которая считала, что чеснок лечит все болезни, и ела его много и с утра.

Плотный запах чеснока стоял в актовом зале.

Но особенно тяжело было нам переносить момент приближения учительницы, а подходила она очень близко. Брала за плечико и показывала движение.

Танцевали мы под запах чеснока два танца – французский танец Утят и танец Чебурашки. Этот танец, видимо, придумала она сама. Надо было взять себя за уши, тогда руки, согнутые в локтях, становились как бы большими ушами. Затем локти нужно было соединять и разводить. Соединять и разводить. Типа, хлопая этими условными большими ушами.

С тех пор Андрей, Чебурашка и запах чеснока у меня тесно связались.

Вот так, спустя годы, мы узнаем про детство наших детей и внуков. Иногда рассказывая им про свое. Что-то наверняка скрывая.

Будьте здоровы и держите себя в руках.

ПОБЕГ

Скажу честно, что Всесоюзную пионерскую организацию имени В. И. Ленина я не любил. Не любил, несмотря на то, что 19 мая, в День пионерии, в метро пионеров пускали бесплатно.

Я не любил пионерскую организацию за весь этот пафос, сборы, дружины, горны, барабаны, знамена, линейки… Пионерок любил, а вот пионерскую организацию нет. А тут вдруг меня отправили в пионерский лагерь.

Я всегда отдыхал часть лета с родителями на Черном море. Часть – с бабушкой на даче. А тут вдруг раз – и в пионерский лагерь. За что?! Если бы вы знали, как мне было там плохо! Нет, я был общительным, моторным и задиристым мальчиком. Но мне было там плохо.

Короче говоря, мои отношения с коллективом не сложились. Над шутками моими не смеялись, шутки окружающих сверстников мне были не смешны. Когда ночью на меня высыпали зубной порошок, я проснулся в ужасе. Мне снилось что-то хорошее, нежное, розовое. И вдруг – бац! – этот кошмар, какая-то мерзость на лице. Я до сих пор помню это отвратительное чувство. Я замкнулся и тихо страдал. И вот, когда мы пошли однажды в поход за территорию лагеря, я совершил побег.

Знаю, это был нехороший поступок. Глупый. Но я хотел свободы! Я убежал от пионеров недалеко. Я слышал их голоса в лесу, но я был свободен и один. Я лежал на траве, глядя на небо и плывущие облака. Банальная киношная чушь.

Потом отряд заметил потерю бойца. И меня стали искать. Лес начали прочесывать шеренгой с криками: «Бильжо! Бильжо!..», а я, маленький противный пионер Бильжо, уходил от хороших пионеров, прятался в кустах, при этом хитро держал своих преследователей в поле слышимости.

Спустя какое-то время вызвали еще отряд пионеров. Приехали вожатые. Стало темнеть. Мне казалось, что это какой-то фильм про фашистов, где главную роль партизана играю я. Ситуация заходила в тупик. Уехать домой я не мог (нет денег, ключей от дома), да и был я не настолько отчаянным.

Оставалось одно – сдаться в плен хорошим пионерам. И я сдался.

Что потом было? Было то, что я больше всего не любил. Этот самый пафос: горн, барабан, знамя, линейка, и я перед строем.

– Как ты мог, пионер Бильжо? Ты всех подвел! Ведь ты же член пионерской организации! Мы сообщим…

Я уже не слышал этой речи и думал о чем-то своем.

Заметьте, эта история была еще до фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!»

Потом как-то все рассосалось.

Рассосалось и детство. Счастливая безоблачная пора.

Это огромное взрослое заблуждение про «счастливую пору»… Так как взрослые проблемы вырастают из детских, а их в детстве огромное количество.

Будьте здоровы и держите себя в руках.

Маша Вильямс. Миша [17]

Дача была идеальна. Недалеко от города, но в стороне от шоссе. Рядом – лес, поле, озеро с купальней, речка – на выбор. Дом деревянный, двухэтажный, с камином. За окнами – большой сад и огород, где все росло как попало и для удовольствия, а не для скучных заготовок впрок. Ягоды собирать можно было целый день. А еще читать заданного на лето Паустовского или Гайдара. Или играть в бадминтон. Или купаться.

Но Миша не просто не любил эту дачу – он ее ненавидел. Она принадлежала родителям Мишиного одноклассника, а им, в свою очередь, досталась от деда-генерала. И родители Вовы каждое лето приглашали Мишу «погостить».

Миша и Вова росли в соседних домах, ходили в один детский сад и в одну школу. Они родились с разницей в несколько дней. Оба были мальчиками «из хороших семей», а такие мальчики, по мнению родителей, обязаны были дружить или хотя бы общаться. Мальчики, однако, не дружили, в школе общались мало, поэтому летом, вынужденно оказавшись вместе, скучали и с переменным успехом терпели друг друга, считая дни до конца каникул.

Но Вова был побойчее, чувствовал себя на своей территории и к Мише относился чуть свысока, постоянно подкалывая и задирая его. Миша сносил это молча, зная, что ответить быстро и остроумно все равно не сможет, а только неуклюже нагрубит в ответ. Родителям Вовы Миша тоже не очень нравился, и он чувствовал это. Если бы нашелся другой мальчик «из хорошей семьи», они бы, как ему казалось, тут же позвали его погостить вместо Миши, но такого мальчика, по их мнению, в классе не было. Потому и походы за грибами, и купание в речке, и даже просто совместное сидение на террасе было для Миши мучительным: он нервничал и везде чувствовал себя лишним.

На дачу часто приезжала генеральша, вдова первого владельца дачи. Последний раз она привезла два пакетика конфет «Осенний вальс» – один для Вовы, второй для Миши. Миша пробовал такие, они ему очень понравились. Мысль о том, что он получит в свое распоряжение целый пакет, немного примирила его с дачной тоской. Конфеты лежали на кухне в хлебном ящике, а вся семья обедала. Генеральша громко смеялась, рассказывала истории, которые даже Миша слышал не единожды. Голос у нее был неприятный. Мише опять стало тоскливо, и он, не извинившись, ушел из-за стола. Вова, тоже заскучав, увязался за ним. Они попытались поиграть в какую-то старую настольную игру, но дело не клеилось: Миша думал о

конфетах и был рассеян, а Вова думал только о том, чтобы выиграть, поэтому часто ошибался.

Из-за чего начался очередной спор, они и сами не смогли бы вспомнить. Но в конце Миша, желая отыграться за все свои мучения разом, сказал Вове, что его бабушка-генеральша много о себе думает и что, имея привычку говорить «звонит», лучше не говорить вообще. Вова впервые не нашел что ответить. А Миша, расстроенный, раздраженный, улегся на раскладушку и не вставал до вечера.

Вечером генеральша уехала, а Миша все ждал, когда ему отдадут его подарок. Он видел, что мать Вовы переложила оба пакетика из хлебницы на самую верхнюю полку шкафа. На следующий день он тоже ничего не получил. Миша не знал, что и думать, никак не связывая свою речь по поводу генеральши с тем, что родители Вовы не отдают ему конфеты. Он решил, что мама Вовы просто пожадничала и, как только он, Миша, уедет, она тут же отдаст оба пакета своему любимому сыночку. Мысль о том, что взрослый человек отнял у него, ребенка, подарок, да еще такой вкусный, была просто ужасна. Он разнервничался до такой степени, что ночью описался.

Стало совсем невыносимо. Признаться в том, что случилось, Миша не мог. Он аккуратно застелил кровать, весь день старался не заходить в комнату, а вечером, дождавшись, когда Вова заснул, быстро залез под одеяло. Сначала было очень холодно и противно, но потом матрас нагрелся и Миша, пару раз всхлипнув и мысленно обругав Вовку и всю его семью, заснул.

До конца каникул оставалась еще неделя, а до приезда родителей – два дня, и эти два дня Миша засыпал в мокрой кровати, продолжая аккуратно застилать ее по утрам и не говоря никому ни слова.

Когда они втроем вернулись домой, Миша объявил, что к Вове на дачу он больше не поедет, потому что они «не сошлись характерами». Эта фраза ему очень понравилась, и на все вопросы он отвечал именно так, огорчая родителей своим внезапным упрямством. «Вы же прекрасно ладили», – в один голос удивлялись мама и папа. В следующем году Миша на дачу действительно не поехал. Впрочем, это был первый год, когда его и не пригласили.

Ирина Головинская. Клапмютценталер [18]

В старом оскароносном фильме «Газовый свет» игра света и тени, сам этот призрачный свет – сюжетообразующие элементы и значат не меньше, чем интрига. Сейчас термин «газлайтинг» известен буквально каждой уважающей себя женщине, однако бывает психологическое насилие и без злодея: злодеем (или героем) становится не живой человек, а свет, свечение, то есть и вовсе нематериальное нечто.

Рассмотрим давний случай.

Вот, допустим, живет на свете девочка Леночка, единственная дочка и внучка, обожаемая родными, выдумщица и фантазерка, глотательница книг, в общем, типичная для своего поколения девочка. И вот вдруг неизвестно откуда приходит ей в голову странное звуко- и словосочетание: саксонское серебро.

Откуда ты это взяла, что это означает, допытывается бабушка, ей интересно, она понятия не имеет, что это. И про себя соображает: не в детском же саду для детей железнодорожников ребенок это услышал? Не в нашей же коммуналке, от вечно пьяной Лидки или вечно раздраженной АннВасильны? (положим, Анна Васильна-то, при всем уважении, и произнести это не смогла бы: отсутствие зубов, а также классовая ненависть ко всей материальной культуре человечества). Возможно, вчерашние гости? Николай Николаевич – он же натуральный старорежимный профессор из кино, даже пенсне, и дамам ручки целует, но нет, Леночки вчера и дома не было, ее возили в детские гости.

Откуда, откуда же тогда эти летящие и свистящие звуки, складывающиеся в безмерно загадочные и столь же прекрасные, нездешние слова? Саксонское серебро – что это?

Не умея вычленить семантику (денотат же вовсе невозможен), ребенок из музыкальной семьи вцепляется в фонетику и готов повторять это словосочетание бесконечно, как напевают прилипший мотивчик. И считать саксонским серебром сокровища бабушкиной шкатулки с пуговицами, пряжками и штучками. Ее же люстру с висюльками над дубовым прямоугольным столом. Дедушкин баритон, тети-Зинино сопрано, книжку с лебедями и принцессами, сахарницу с щипчиками (и вправду серебряными). Клубничное варенье на просвет в трехлитровой банке! Да мало ли. Загадочное заклинание вмещает в себя все, что уже случилось хорошего, и все то огромное, что еще случится.

Бывают, конечно, плохие дни, с молочным супом в детском саду. Память не хранит его вкус, хранит лишь запах, но и его

достаточно. Или в школе смертельно скучно, и конца этой скуке не предвидится, к тому же с лучшей подругой Наташкой произошла дурацкая ссора. Но плохих дней Леночка не помнит, зачем? А в хорошие все вокруг приобретает сдержанный блеск и устойчивое, породистое сияние, мир обещает только радость, ведь даже малому дитяти понятно, что это серебряное сияние – экран, магическая защита.

Однако в какой-то момент оказывается, что экран не столь прочен, он с дырами, и защита пробивается очень легко, стоит только заболеть.

А знаете, что происходит, когда серебряное сияние сменяется на синюшный дрожащий свет, сочащийся из-под двери, как медленный яд, когда эта узенькая щелка под дверью не дает заснуть? Когда этот яд отравляет светлое будущее, твердо обещанное Леночке (и всем советским детям)?

В одном стихотворении (авторства Маши Рупасовой) ребенок говорит маме, интересующейся, что происходит в мире: «Мама, я тебе скажу! / В мире я происхожу!»

Так вот, это уверенное «в мире я происхожу» в туберкулезном санатории, куда попала девочка Леночка, отменяется. Леночка пока не умеет отделить себя и свою жизнь от жизни драгоценных пуговиц-воинов и драгоценных пуговиц-принцесс из бабушкиной шкатулки, от ярких подушек на диване, которые только она умеет правильно и красиво раскладывать, от дедушкиных маленьких подарочков. Такого здесь, в санатории, конечно же, ничего нет и быть не может. Важные составляющие ее души и жизни как будто растворились в этом синюшном свете. Кто читал Филипа Пулмана, тот знает, что бывает с человеком, хоть взрослым, хоть ребенком, разлученным со своим деймоном.

А в санатории между тем, невзирая на страшноватое название, неплохо. Там нет больных, это, как сейчас бы сказали, реабилитация. Не мучают уколами, нянечки вполне добродушны, кормят, кстати, сносно, потому что детям необходимо усиленное питание. Родителей пускают два раза в месяц. Даже концерты к родительскому дню готовят – вон стоит у взрослой Леночки фотография из того времени: она в костюме лисы, и папа рядом. И ничего ужасного нет в воспоминаниях, это не больница, то есть детям и персоналу послабление, нет этих страшных «палат» на 18 человек, какие потом случались в ее пионерском детстве, все мило и по-доброму. Медленные прогулки парами, стишки какие-то поучить, игры на свежем воздухе.

Но это все днем.

А ночью велят спать, а под дверью щелка. А за дверью длинный холодный коридор, с одной уснувшей медсестрой и

одной лампочкой и разными тенями вдоль стен, звуками и дуновениями. И потом во всех больницах, во всех пионерских лагерях и казенных домах будет именно этот коридор, с мертвенным светом, видимо, прообраз чистилища, как однажды поделится догадкой выросшая Леночка, а ее подруга радостно захохочет, соглашаясь.

И как в «Газлайте» героиню пугает не сам беспричинно гаснущий газовый рожок, а подмигивающая таким образом хтоническая жуть, возможно пришедшая по ее душу, так этот дрожащий неверный холодный мертвенный казенный отвратительный слепящий бледный синюшный сиротский свет из раннего детства будет пугать взрослую Леночку в самых неожиданных местах. В отелях и поездах, в съемных квартирах и на дачах друзей. В учреждениях, куда только за справкой, но лучше днем. В дочкином детском саду. Будет не давать спать, вгонять в тоску и мизантропию, а иногда и призывать к бунту и неповиновению (ненадолго, впрочем).

Если главным актором детства было серебряное сияние, казалось бы, что тебе эта незначительная травма? Забудь и живи дальше!

Сбеги, вернись обратно к шкатулочкам, к теплой комнате с морозным окном за кремовыми шторами и всем тем, что тебе еще причитается.

Невозможно. Побег оказывается невозможен, ни во времени, ни в пространстве. Героине «Газлайта» Поле повезло, ее спаситель Брайен появился вовремя. Нам, простым смертным леночкам, не всегда так везет, да, в общем, никогда так не везет. Все, что с тобой случается, все это надо терпеть молча, потому что, согласно нерушимой традиции, жаловаться нельзя, неприлично, не принято, да и вообще пионеры-герои, отдавшие жизнь за родину.

Да и на что жаловаться? Надо же сначала понять, чем именно ты недоволен и почему, почему другие терпят, а ты не можешь. Всего-навсего какой-то не тот свет, каламбурит взрослая Леночка, а все кувырком, и никакого серебряного сияния. И не спит, не спит.

В пионерском лагере Леночка с тоской и завистью будет слушать байки взрослых ребят, семиклассников, про каких-то сбежавших пацанов, и восхищаться их отвагой. Сама она никогда ни на какой побег никогда и ни за что не решится, потому что жалость всегда обрушивается на нее раньше, чем она успевает о побеге помечтать: у бабушки может случиться инфаркт, да и у мамы слабое сердце.

А саксонское серебро, как выяснилось, когда википедия стала

источником знаний, это и вовсе монеты какие-то, их чеканили в начале 16 века при Фридрихе III, саксонском курфюрсте, и назывались они саксонский гульденгрош, или клапмютценталер.

Наталия Ким. Очки [19]

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ДЕВОЧКА-ПОДРОСТОК В ТЕМНЫХ ОЧКАХ.
МАМА.
ПАПА.
МАЛЬЧИК 3,5 ЛЕТ.
ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ.
ГОЛОС ЗА ДВЕРЬЮ (МЕДСЕСТРА СОНЯ).
ДЕТСКИЙ ГОЛОС ЗА ДВЕРЬЮ (ДАНЯ).

Медицинское учреждение, нечто вроде приемной. Маленькая комната, два дивана, два кресла, два стола, один стул. Стенд с рисунками пациентов к Пасхе и 9 Мая, правилами посещения и порядком приема передач. Перед нами Семья (ДЕВОЧКА-ПОДРОСТОК, МАМА, ПАПА сидят на диване, МАЛЬЧИК катает машинку по столу). У двери стоит ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ.

МАМА. Ты не причесалась. Ты должна причесываться.

ДЕВОЧКА В ТЕМНЫХ ОЧКАХ *(монотонно)*. Я причесывалась.

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ *(стучит в дверь)*. Але! Я передача… передачу, тьфу…

МАМА. Нет, ну я же вижу! Дай я перечешу…

ДЕВОЧКА. Не надо.

МАМА. Нет, ну я ехала сюда, чтоб с тобой препираться, что ли?

ПАПА. И шея черная. Вы что, не моетесь тут?

МАМА. Где?.. Ах!.. кошмар какой-то! У меня влажные салфе…

ПАПА. И руки, руки, опять грызла, да? Тебе тут не сказали, что нельзя пальцы жрать?

МАЛЬЧИК. Низя-я-я… пальтики кусять…

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ *(нервно дергает ручку двери)*. Але! Я к Казанцеву! Я к Дане, Казанцеву, ну? Але! Не, ну нормально, полчаса тут…

ДЕВОЧКА В ТЕМНЫХ ОЧКАХ. Нажмите кнопку. Кнопка у стенда. Придет кто-нибудь.

МАМА. Я, кажется, с тобой разговариваю! Кнопка ей!

ПАПА *(миролюбиво)*. Ладно, мать, оставь. Ты как, доча? Как настроение?

ДЕВОЧКА. Какое тут может быть настроение. Догадайся.

ПАПА. Ну-ну, не надо прям преувеличивать, понимаешь, так

сказать, показывать свое настроение сразу.

ДЕВОЧКА. Ты меня только что спрашивал про мое настроение.

ПАПА. Ну вот я и говорю, показывать его прям с порога, знаешь, родителям…

МАМА *(перебивает)*. Что с питанием у тебя? Яблочки кушала?

ДЕВОЧКА. Да, спасибо. Только больше не приносите, их тут и так дают.

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ *(давит кнопку звонка)*. Вот-те на-те… *(Еще давит.)*

ДЕТСКИЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Мама?! Мам! Мам, это ты тут?

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ. Данечка! Сынок, это я, я мама твоя! Даня! Почему мне не открывают, пойди, сынок, спроси! Скажи, передачу я принесла!

ДЕТСКИЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ *(слезно)*. Мам, седня не передачный день же… Среда-суббота, а седня не возьмут, наверно…

МАЛЬЧИК. Ни вазьму-у-уть… *(Катает машинку.)*

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ. Сынок! ну спроси какую-нибудь тетю, сестру там, нянечку, врача спроси – я ж полгорода ехала!

МАМА *(раздраженно)*. Женщина, можно как-то орать потише? Ребенок вам правильно говорит, сегодня только день встречи с теми, кто еще не гуляет. Все гуляют там, кроме новеньких. Вас врач смотрела? Вам разрешили передачу не в нужный день?

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ *(растерянно)*. Нет… я первый раз… я думала, можно…

ПАПА. Ну знаете, как в детстве – индюк тоже, знаете, думал!

ДЕТСКИЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Мам, я щас спрошу, не уходи, не уходи, не уходи, я быстро, не уходи! *(Убегает.)*

МАМА. Скажи, ты уроки слушаешь?

ДЕВОЧКА. На кой.

МАМА. Нет, ну все-таки я понимаю, что нет специалиста тебе, но ведь скучно так, посидела бы, послушала.

ДЕВОЧКА. Математику послушала? Химию, физику?

ПАПА. А что, а полезно все равно! Все равно слушать – это представлять! Химию представлять, таблицу Менделеева.

ДЕВОЧКА *(иронично)*. Че, правда? Прям таблицу? Прям Менделеева?

ПАПА *(не сдается)*. А что, и слушать! И вникать, и постараться… понять как-то постараться… там, буквы латинские ты же читала уже! Цифры! Валентность – это же интересно, это научно…

МАЛЬЧИК. Мама, я писять хотю… Алёся, отклой двель… писять… а-а-а…

МАМА *(раздраженно)*. Дмитрий, ты мешаешь! Потерпи! Я тебе сказала когда – пьешь сок – потом терпи! Ты терпел? Теперь терпи, я говорила не пить, чтобы не терпеть тебе потом!

МАЛЬЧИК. А-а-а! (Швыряет машинку, попадает в ногу Женщине с сумкой.)

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ *(от неожиданности)*. Ой, мать твою!.. больно! Мальчик, ты дебил, что ли?!

ПАПА С МАМОЙ *(одновременно)*. Женщина! Вы что?!

МАЛЬЧИК *(заинтересованно)*. Тетя сказала…

ДЕВОЧКА *(смеется)*. Митька, что сказала тетя?

МАМА. Замолчи! Замолчи!..

ДЕТСКИЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Мама! Мама, ты тут? Я тут! Я позвал! Они сказали – нельзя, но щас придет там одна тетя Соня Егорова, она хорошая, мам, мам, ты тут?

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ. Данечка, я здесь, здеся, я жду, я подожду, мой хороший, скажи, ты хорошо себя ведешь? Хорошо ведешь?

ДЕТСКИЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. …Я хорошо…

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ *(понижая голос)*. Даня! Данечка! Скажи, ты… ты хорошо себя с ребятками ведешь, да? Ты… ты спокойный, Данечка, сынок? Ты не злишься больше на маму? На бабушку, не злишься на нее больше? Бабушка тебе тут… передала…

ДЕТСКИЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Бабушку – не люблю! ничего не люблю ее больше! я ее потом опять побью!

МАМА. Какой агрессивный мальчик, ужас.

ПАПА. Ну-ну-ну, не наши дела, не наши.

ДЕВОЧКА. Отличный пацан. Мне всегда воды приносит с кулера, и в руки прямо стаканчик вставляет, держит, чтобы я не уронила. Говорит, это как ты смогла глаз себе сама, я бы не смог. Просил очки померить, ты почему не видишь глазом, который остался, я не понимаю, говорит. Я очки не дала. Но он такой, норм. Другие еще хуже.

ПАПА. Неприлично такие вопросы, беспардонно так! Я матери сейчас этой объясню…

ДЕВОЧКА. Папа!..

МАМА. Не надо, Эдик!

МАЛЬЧИК. Пися-я-ять…. папа, не надо, папа не надо, папа не надо, не да па, па не да, но де па…

ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Женщина, Казанцева, сегодня не приемный день передачный! Завтра, в среду приходите, это же время!

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ. Простите! Простите пожалуйста! Можно вас попросить взять сегодня! Я отгул брала, у вас время такое неудобное, а что день не этот, я не знала! Мне завтра не дадут!

ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Не могу, у нас сегодня электричество перемкнуло, мы все холодильники на помывку поставили, повыкидали все, что портится.

ДЕТСКИЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Мама, ты что принесла?! Конфетки, мармеладки принесла? Они не портятся, теть Сонь, мы с ребятами их сразу…

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ. Да, да, сушки-конфетки-сок! Сок фабричной упаковки! не надо холодильник! Пожалуйста, женщина, я полгорода проехала с черт-те чего откуда, с Зябликова, я прошу вас, пожалуйста примите!

ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Ну хорошо, я сейчас открою, Казанцев, ты уходи, дружочек, сегодня вам свидания не положено еще, ты новенький, тебе нельзя.

МАЛЬЧИК. Не полозено… мам, дай пить. Мам, пить хотю.

ДЕВОЧКА *(встает, держится рукой за край стола)*. Ладно, мам, меня ждут уже, наверное. Девочки ждут, я пойду. Яблоки не неси завтра.

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ *(внезапно)*. А этим почему свидание положено?

ДЕВОЧКА *(спокойно)*. Потому что я не новенькая, а хреновенькая.

МАМА. Леся, что ты?!

ДЕВОЧКА. В смысле, хроник. *(Папа вскакивает помочь ей дойти до двери, держит под руку, Девочка все равно старается ощупью делать что-то сама.)*

МАЛЬЧИК *(обнимает сестру за ногу)*. Алёся, Алёся, хотю на лучки…

ДЕВОЧКА *(ласково)*. Слезь с ноги, Мить, мешаешь…

МАМА *(целует)*. Пока, солнышко, все-таки причешись, когда разрешат… и туалетной бумагой протри, намотай на руку, в воду и потри там, шею потри, а то ну так некрасиво!..

ПАПА. Пока, доча, до завтра!

МАЛЬЧИК. А я не до завтла! А я завтла с няней! Мам, пи-и-ить!.. *(Уходят.)*

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ в открывшуюся дверь передает сумку, из-за толстой низкорослой женщины торчит вихрастая голова мальчика лет 8.

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ. Данечка!..

ДАНЯ. Мамочка!..

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ. Сынок! Сынок, веди себя хорошо! Тогда будешь с мамой снова! Снова будешь! Если будешь хорошо… и бабушку если не будешь любить, я тебя тоже не буду любить, слышишь, Даня?!

ДЕТСКИЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Не буду! Не буду любить бабушку! буду только тебя!

ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Казанцев! быстро в палату! Бегом!

СЛЕПАЯ ДЕВОЧКА. Пока, пап, мам, Мить… до завтра…

ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ. Казанцев! Накажу! Отойди от дверей!

ДЕТСКИЙ ГОЛОС. А-а-а!

ЖЕНЩИНА С СУМКОЙ. Я ухожу! Я ухожу! Я приеду… в субботу приеду! Мы приедем! Ты веди себя хорошо только, тогда приедем! Пока, сынок! Пока, маме на работу надо! *(Уходит.)*

ГОЛОС ДЕВОЧКИ. Дань, пойдем. Дань, не плачь. Хочешь очки. На, надень.

Борис Минаев. В отделении запрещается уединяться [20]

Памяти Бориса Зиновьевича Драпкина

Шестая детская психбольница в те годы была заведением всесоюзного значения – огромным, в общем-то, учреждением, куда попадали особо трудные, запущенные дети не только из Москвы, но и из самых разных уголков СССР. И не только дети. В их пятнадцатом отделении лежали и подростки-старшеклассники, и выпускники, и абитуриенты, попадали сюда и люди постарше (как они там договаривались, насчет детской больницы, в строгое советское время, одному богу известно), и студенческого возраста, и уже работающие, ну, скажем, Курдюков или Цитрон, но таких было немного, раз-два и обчелся.

В пятнадцатом отделении лежали в основном заики, то есть люди с той или иной степенью логоневроза – по-разному выраженного, с разным сопутствующим букетом, но не только: у кого-то была психастения, или как потом стало модно говорить, акцентуация характера.

Лева ненавидел больницы, с их особым больничным запахом, противной пищей, тусклым светом в длинных коридорах, стонами «тяжелых» по ночам, с визгливыми интонациями сестер – он это дело знал хорошо, с раннего детства, со своим букетом: гланды, аденоиды, гнойный гайморит, порок сердца, расширение каких-то там вен в самом неприличном месте, которое (расширение) вдруг стало отдаваться особой, ужасной болью, пока его не разрезали под общим наркозом, – в общем, полный букет, и когда мама сказала, что с его тяжелым заиканием надо что-то делать, через год уже пора готовиться к поступлению в вуз – и надо ложиться в больницу, он растерялся.

И сначала дико засопротивлялся, и тогда мама сказала:

– А экзамены ты хочешь сдавать? – и дело было решено.

Словом, в больницу он отправлялся с самым тяжелым сердцем, но неожиданное ощущение, что это совсем другая больница, появилось сразу, как только они с мамой, отойдя от метро «Ленинский проспект», перейдя через пыльный мост с трамвайными путями и миновав пару кварталов с пятиэтажками в глубине многочисленных Донских проездов, углубились за больничные ворота в аллею.

Сразу, в первые же дни было полно этих парадоксальных

моментов – но, конечно, больше всего запомнился один, самый главный…

Когда буквально на второй день, в субботу (после сеанса), он попал в актовый зал на танцы (дурдом в квадрате – танцы в больнице, ну не бред ли сумасшедшего), он стоял и глупо ухмылялся, глядя на танцующих психов и заик, никаких людей в белых халатах, санитаров, сестер, врачей не было и в помине, поставили на проигрыватель пластинку, кто-то зычно крикнул: «Бе-е-лый та-а-нец!», закружились пары, и к нему подошла высокая девочка с соломенными волосами, почему-то без бровей и без ресниц, отчего ее синий взгляд сквозь глаза-щелочки искрился особенно сильно, и просто сказала: «Пойдем?»

И он вдруг понял, что не сможет отказать, да я не умею, ничего, сейчас будем учиться, клади руку вот сюда, эту сюда, старайся следить за моими ногами, ой, извини, ничего страшного, хотелось одновременно следить и за руками, и за ногами, и за глазами, он пару раз наступил ей на ногу своим ботинком, она засмеялась, ну, веди меня, как это, ну веди, веди, ты же мужчина, должен вести, вот так, вот так, отлично, делаешь большие успехи, просто очень большие успехи, теперь следующий урок, называется «дистанция», то, как ты меня держишь, называется пионерская дистанция, понял или нет, ты ведь уже комсомолец, и тут он понял, и взял ее крепче, и ощутил ее грудь, и она опять засмеялась, так я не смогу, да и ты тоже, чуть понежнее можешь, помягче, вот… вот, а говоришь, не умеешь, все ты умеешь, а как тебя, кстати, зовут, Лева, а меня Нина, ты здесь давно, только второй день, тебе повезло, а я уже целый месяц, а танцы всего во второй раз, и пошел разговор…

Притушили свет в актовом зале (не до конца, конечно), они сели на подоконник, кругом было полно таких же парочек, это его и волновало, и успокаивало одновременно.

– Ты заикаешься? – просто спросила она.

Он кивнул.

– Сильно? Я что-то ничего не заметила.

– Вообще-то да… Иногда сильно. Не умею, например, говорить по телефону.

– Ну, это все нестрашно, – сказала она. – Тут таких много. И говорят, потом все проходит. Сеанс тебе очень поможет. Ты, кстати, знаешь, что это – сеанс?

– Похоже на какие-то фокусы. Как в цирке.

– Это не фокусы! – со значением и даже сердито сказала она. – Ты должен как следует подготовиться, это самое серьезное, что тебя здесь ждет. Ты это понимаешь?

– Наверное, – задумчиво ответил Лева. – Но еще не совсем. А ты?

– Что я?

– А ты… почему здесь?

Она помолчала.

– А ты сам ничего не заметил?

– Нет.

– Врешь. Все ты заметил. Просто не хочешь говорить…

– О чем?

– А ты настырный… – спокойно сказала она. – Видишь, вот здесь. И вот здесь… Почти нет бровей и ресниц.

– И что это значит? – оторопел он.

– Выщипываю. Сама. Это такое заболевание у меня. Понял?

Он помолчал, не зная, что сказать. А потом почувствовал, что говорить обязательно надо, хотя бы что-нибудь.

– Это же больно, наверное…

– Да нет, наоборот, приятно, – спокойно сказала она, глядя вдаль. – Ты знаешь, я ведь даже не замечаю, как это все происходит. Просто сижу, думаю о чем-то… Я без этого, наверное, уже не смогу. Никогда. Ну что, страшно стало?

– Знаешь, – сказал он, глядя ей в глаза. – Я, правда, совершенно ничего не заметил. Может, тебе просто так больше идет?

Она засмеялась.

– Ну да, конечно. Очень идет. Не говори со мной больше про это… Хорошо?

Танцы кончились, он пошел к себе в палату (направо от лестничной площадки), она – к себе (налево).

В палате было тихо, после сеанса многие выписались, он лежал в темноте с открытыми глазами и не мог заснуть, несмотря на таблетки. Он попал в больницу для психов, где впервые (!) танцевал с девушкой. Да еще с какой девушкой! Леву потрясла ее откровенность, то, как спокойно и с достоинством она рассказала ему о самом главном, о том, что составляло, видимо, проблему всей ее жизни – мучительную, страшную, непостижимую для него.

Ее насмешливый голос, ее взгляд, с этими синими огоньками внутри узких, странно розовых (от боли при выщипывании, наверное) щелочек, ее короткий хриплый смешок, то, как она заставила его танцевать, как смело приблизила к себе его лицо, как коснулась его своей грудью, эта музыка – песня группы «Цветы» («С целым миром спорить я готов, я готов поклясться головою, в том, что есть глаза у всех цветов, и они глядят на нас с тобою»), и все это на второй день…

Нет, это явно была другая больница, странная больница, удивительная больница, и Лева понял, что ему – по-настоящему, крупно повезло, и, не веря себе, этому ощущению, он стал сопротивляться, уговаривать себя не радоваться преждевременно, но внутри все радовалось, плясало и пело: да черт бы с ним, уже хорошо, уже все другое, уже самое главное случилось.

Он задохнулся от предчувствия, перевернулся на живот, и таблетка подействовала.

Он уснул.

Эти дикие, удивительные вещи так и сыпались на него в первые дни, он только успевал встряхнуть головой, покачать ею туда-сюда, как бы умещая в ней это новое, неведомое, парадоксальное, не успевая осмыслить, а тут же начиналось что-то еще…

Например, тетрадка.

Ее вынес Саня Рабин (ставший потом его другом на целую жизнь) во дворик перед отделением, где он сидел на лавочке.

Итак, Саня Рабин вышел во дворик с тетрадкой и просто протянул ему:

– Хочешь почитать?

Лева удивился, но взял:

– А что это?

– По-моему, полная ерунда. Но здесь, – он кивнул в сторону корпуса, – это все читают, тайком, конечно.

Лева открыл. Текста было немного. Он был записан короткими отрывками в тетради за две копейки в клеточку.

«Понедельник. Я всех ненавижу. Презираю этот мир, полный грязи, фальши, абсурда и дикой вони. Пришел с работы отец. Пьяный, как всегда. Ненавижу его. Ненавижу свою мать, унылую, рано состарившуюся домохозяйку, ненавижу сестру, ненавижу их всех, этих грязных скотов. Наверное, скоро я вскрою себе вены.

Четверг (другой месяц). Отец попал под поезд, когда возвращался домой с работы. Мать в истерике, от нее воняет, она не мылась целую неделю, везде валяются бутылки, сестра в открытую водит к себе мужиков. Скоты. Я не испытываю ни малейшей жалости к отцу, собаке собачья смерть, как говорится, он не смог стать настоящим человеком, и я, наверное, тоже никогда не смогу, потому что я пью, курю, принимаю наркотики, веду самый свинский образ жизни, целый день валяюсь дома, не хожу в школу, да и зачем туда ходить? Там такое же скотство, как и везде. Сегодня подумал о том, что отец, наверное, мог и сам броситься под поезд. Хорошая мысль, надо об этом подумать.

Суббота. Сегодня изнасиловали мою мать. Она в больнице. Сестре все равно, она сидит на кухне, с мужиками, слушает

музыку, все орут. Как же я их всех ненавижу. Наверное, когда-нибудь я ее просто убью. Или сам покончу с собой.

Воскресенье. Умерла сестра. Просто отравилась газом…»

Лева закрыл тетрадку где-то на половине и подумал, что этот текст он, видимо, запомнит на оставшуюся жизнь.

– Да… – сказал он Сане Рабину. – Действительно, бестселлер. А тебе не кажется, что он все это придумал?

Рабин хмыкнул и посмотрел на Леву с непонятным выражением, видимо, сдерживая смешок.

– Ну… это понятно. Другой вопрос – зачем?

– Не знаю. По-моему, придумывать такие вещи специально просто идиотизм.

– Только учти, что здесь таких персонажей полно. И тебе с ними придется общаться. Так что ты поосторожней с оценками.

– Ладно, – послушно согласился Лева. – Я вообще-то и так довольно осторожный. Даже иногда слишком. Так что с этим полный порядок.

Рабин деловито спросил:

– А в шахматы ты играешь?

– Плохо, – честно признался Лева.

– Жаль… – вздохнул Рабин. – Ладно, пока…

Но уйти он не успел.

Открылась дверь, на крылечко вышла пожилая сердитая медсестра Анна Александровна (ее звали «мышь белая» за седые волосы, поджатые губы и за то, что воли не давала, вернее, старалась не дать, но как не дашь при таких поразительных порядках?). Она сказала, что время приема лекарств давно прошло и что она запишет в книгу, если такие нарушения режима будут продолжаться, при этом – Лева точно это запомнил – она вынесла ему не только положенную горсть таблеток, но и стаканчик с водой, чтобы запить, то есть он мог принимать таблетки прямо во дворе, сидя на лавочке, и никого этого не удивляло…

Лева взял в ладонь свою горсть и спокойно стал закидывать в рот разноцветные четвертинки и половинки, которых набралось целых пять.

Саня заглянул ему в ладонь и тревожно сказал:

– Ни фига себе… Седуксен. Полная таблетка. Может, с врачом сначала посоветуешься, спросишь, что и как? – но Лева, демонстрируя свою богатырскую удаль и полную лояльность к происходящему, спокойно закинул в рот и эту, пятую таблетку…

– Плохого не дадут! – сказал он, типа пошутил.

Прошло еще две минуты, и тут Лева ощутил резкое покачивание вокруг, в голове слегка зазвенело, корпус из

красного кирпича поплыл на него, дворик с деревцами поплыл тоже, и чтобы как-то удержать в голове окружающую картину мира, он тихо, осторожно прилег на лавочку и сказал:

– Слушай, а что-то мне и правда… того…

Рабин слегка возликовал, ринулся в корпус, оттуда выбежала испуганная нянечка вместе с Анной Александровной, они отвели Леву в ординаторскую, там заглянули в глаза, отругали за панику, уложили на кровать, и через час он окончательно оклемался.

Рабин лежал рядом с ним, на соседней койке. И молча смотрел на него.

– Ну как? – спросил он осторожно. – Пришел в себя?

– Да вроде, – ответил Лева шепотом. – Слушай, а у вас тут что, наркотики дают? Это же наркотик… У меня такое состояние после него кайфовое… Хорошо так, спокойно, приятно.

– Какие еще наркотики, – строго сказал Рабин. – Ты не вздумай никому об этом говорить. А то шум поднимется. Это не наркотики, просто такие лекарства. Седуксен что, полная ерунда. Просто ты не привык.

– Ладно, давай спать?

– Давай, – согласился Рабин, но позы не переменил. – Слушай, а ты правда заикаешься? Я что-то ничего не замечаю.

Лева подумал, как ответить покороче.

– С тобой нет. С мамой и папой нет. И еще… с одним человеком. А вообще заикаюсь. Довольно сильно. Просто ни слова не могу сказать.

– С каким это «одним человеком»? – заинтересовался Рабин. – На воле? Или здесь уже?

– Здесь, – сказал Лева. – Но об этом потом…

Вечером, после обеда, его положили в отделение, а наутро, в одиннадцать, был сеанс. Вдруг в отделении появилось много людей – и детей, и взрослых – с цветами в руках. С огромными пышными букетами. Они обнимались, целовались, с чем-то поздравляли друг друга, ребята и девчонки бесцельно слонялись по отделению, подходили к врачам, те говорили им что-то нежное, ласковое, взрослые (мамы, конечно) утирали слезы платком, кому-то несли воды, кому-то – уже успокаивающие таблетки, нянечки бегали с большими стеклянными банками, чтобы поставить цветы в актовом зале, и он подумал, что сейчас будет какой-то торжественный вечер, праздник, юбилей, день рожденья или что-то специальное – день психа или как там он у них называется…

Он спросил у кого-то, и ему ответили коротко: будет сеанс. А

что это такое? – спросил он. А… ты не знаешь, ну сейчас узнаешь, рассказывать бесполезно, надо видеть. После такой преамбулы он вошел в актовый зал настороженный и слегка напряженный, поскольку знал, что такое же предстоит и ему через месяц и сейчас он все узнает.

Мамы не было, в этот день она прийти не смогла, а может, не захотела, чтобы заранее не волноваться.

Он уже понял, соединил в уме – сеанс и гипноз, сеанс гипноза, но это слово было из книжек, из научных статей, которых он, конечно, не читал, в нем было что-то страшное, и это страшное совсем плохо вязалось с той праздничной, домашней обстановкой выпускного вечера, которая царила вокруг.

Люди сидели на стульях, на подоконниках, даже на полу, было очень многолюдно, все окна раскрыли настежь, от духоты, на середину зала вышел Б. З. в белом халате и в белой рубашке с галстуком. Он был бледен, и было видно, что сам волнуется, что для него это тоже испытание, и это заставило Леву отнестись с уважением к нему, хотя в слове «гипнотизер» слышалось ему сразу что-то ненастоящее, цирковое.

Б. З. произнес настоящую речь. Все замерли, был слышен шелест листьев от высоких деревьев за окном и чьи-то непроизвольные вздохи.

Смысл речи Б. З. сводился к тому, что то, что сейчас будет происходить – самое важное, самое главное, ради чего люди едут сюда из разных городов, везут своих детей, испытывают трудности, даже лишения, ради чего и больные, и врачи больше месяца напряженно работали. Сейчас будет происходить освобождение речи. Выздоровление.

– Это не значит, – возвысил голос Б. З., – что сейчас произойдет какое-то чудо. Нет. Это никакое не чудо. Это завершающий этап лечения. Но именно этот этап потребует концентрации всей воли, всех ваших сил, всего вашего внимания. (Леве стало немного страшно.) Потом, после сеанса, вы почувствуете облегчение, свободу, вы будете ходить и говорить, просто, свободно. Вы будете радоваться своей победе. Так бывает в большинстве случаев, в девяносто девяти случаев из ста. Но это не значит, что болезнь отступит совсем, что вы навсегда перестанете заикаться. Нет. Болезнь будет возвращаться, кружить над вами, как коршун, будут трудности, но это не главное. Главное, что сегодня вы почувствуете свою силу. У вас будут неведомые вам раньше ощущения – легкости, свободы. Вы поймете, что болезнь не всесильна, что человек может ее победить. И потом с этим чувством своей силы, своей внутренней уверенности вы пойдете по жизни. И вот это и есть та цель, к

которой мы стремимся.

Б. З. помолчал.

– …Те, кто уже были на сеансе, знают, как это происходит, – сказал он. – Те, кто сегодня пришел в первый раз, должны запомнить одно наше главное правило. Всегда, на всех сеансах мы просим и пациентов, и друзей, и родителей (а мы приглашаем сюда всех, каждый может пригласить сюда кого-то) – помогать нам. Как помогать? – поднял палец Б. З. – Это большой вопрос. Не надо шуметь, кричать, во-первых. Это нам помешает, причем очень сильно. Если вы почувствуете, что вам стало плохо, постарайтесь тихо-тихо выйти из зала, чтобы этого никто не заметил. Но этого не произойдет, если вы будете, как и все остальные, сочувствовать, сопереживать участникам сеанса.

Никогда потом, в течение всей своей жизни, Лева не слышал более сильной речи.

В ней не было каких-то острых парадоксов, ярких мыслей. Она была очень простая и понятная. Но сила убеждения, с которой говорил Б. З., та сила, с которой он собрал в кулак волю сотни людей, та сила, которая сделала невозможной отступление, страх, неуверенность, – она была удивительной.

Шесть человек, четыре парня и две девушки, вышли из зала и стали лицом к зрителям, спиной к стене. Кажется, все они были старше его, так показалось, кроме одного мальчика лет тринадцати, в очках, а один парень и вовсе выглядел совсем взрослым, он был в пиджаке, в белой рубашке, как и многие здесь.

Б. З. молча походил перед ними взад-вперед, потом неожиданно вскинул руки и воскликнул: «Внимание!»

– Ваши руки… – начал он, – постепенно теплеют, ваши плечи расслаблены, все ваше тело отдыхает…

Лева потом слушал эти тексты десятки раз – на аутотренинге, на лечебном сне, на чужих сеансах и своих (никто их, кстати, не называл «гипнотическими», было официальное длинное название – суггестивная терапия, но обычно говорили – «сеанс», и все).

– Поднимите руки. Вот так. Так. Ладони распрямите, расправьте пальцы…

Б. З. стал жесткими, быстрыми движениями поправлять руки, расправлять пальцы, еще быстрее, еще жестче, раздалось в первый раз его сильное, шумное сопение.

– Закройте глаза! – прикрикнул он. – Закройте глаза! Я говорю: раз! Я говорю: два! Я говорю: три! А теперь медленно, я повторяю, очень медленно откройте глаза и попробуйте пошевелить пальцами.

Шестеро больных стояли бледные от напряжения, с закрытыми глазами, слегка покачиваясь. Они начали поочередно открывать глаза и с ужасом смотреть на свои руки. Пальцы ни у кого, разумеется, не шевелились.

В зале раздался какой-то испуганный ропот, и он дико, истошно заорал:

– Тишина в зале! Полная тишина в зале! Я сказал: тишина!

Б. З. свирепо, движением льва оглянулся, сверкнул глазами и снова начал свои заклинания:

– Ничего страшного с вами не произошло! Я говорил вам перед сеансом, что бояться не надо, что вы на какие-то минуты, даже секунды будете подчиняться моим приказаниям и ваше тело перестанет вас слушаться. Вот сейчас это произошло. Сейчас я скомандую, и ваши руки снова начнут вас слушаться… Раз! Два! Три!

Ребята задышали, стали шевелить одеревеневшими пальцами, одна девочка попыталась заплакать, но Б. З. быстро подошел к ней (он все делал стремительно, реактивно) и мгновенно успокоил, что-то прошептав.

Однако сначала Б. З. вызывал каждого «к доске» (они выходили вперед, сделав шаг, как перед чтением приговора), и он задавал им вопросы:

– Как тебя зовут?

– М-м-меня з-з-зовут С-с-сережа…

– Как твоя фамилия?

– Мо-о-оя фа-а-амилия К-к-коренев…

Да, правильно, перед тем, как приступить к фокусу с руками, Б. З. долго мучил их перед залом, задавая самые простые вопросы, слегка поторапливая, жестко, безжалостно, демонстрируя их полную речевую несостоятельность, и даже слегка подавляя.

После фокуса с руками последовали еще два других трюка. Б. З. заставлял ребят, как одеревеневших истуканов, падать вперед и назад, теряя равновесие, подхватывал их на лету, причем пытался подхватить в самый последний момент, для пущего эффекта, зал был уже в полуобморочном состоянии, кто-то действительно тихо вышел от греха, кто-то из родителей беззвучно рыдал, кто-то шумно дышал в окно…

– А теперь вы заснете! – тихо, но грозно сказал он. – Вы не будете слышать то, что я вам скажу… Вы заснете ненадолго, всего на несколько секунд. Но именно в эти секунды случится самое главное. Когда я скажу – три! – вы проснетесь. Вы откроете глаза и почувствуете, что вы стали другими. У вас откроется второе дыхание. Легкое, свободное дыхание. Помните, на счет «три» вы

заснете, и потом, точно так же на счет «три», вы проснетесь.

– Раз! – сказал Б. З.

«Как страшно не заснуть», – подумал Лева. Но они заснули.

…И все благополучно закрыли глаза на счет «три».

– А теперь, – сказал Б. З. тихо и внятно, – вы получите мою установку. Мой приказ. И когда вы проснетесь, вы будете его выполнять. Я даю установку: когда вы проснетесь, ваше тело будет легким, а голова – свежей. Ваша речь станет свободной, легкой, плавной, ваше дыхание станет ровным и глубоким, ваши мышцы лица и шеи будут расслаблены, вы ни-ко-гда больше не почувствуете этих страшных судорог в лицевых мышцах, в мышцах губ и горла («ну да, никогда», подумал Лева недоверчиво), вы ни-ко-гда больше не будете заикаться, ваш страх речи исчезнет, он исчезнет навсегда, когда закончится этот сеанс, и вы будете говорить легко и свободно, легко и свободно, легко и свободно… (все это время он делал легкие пассы своими короткими толстыми руками вокруг лиц испытуемых, как бы гладя и освобождая те участки, где чувствововал напряжение).

– Раз! – крикнул Б. З. и слегка присел.

– Два! – крикнул Б. З., взмахнул руками, как маленькая толстая птица, и испуганно оглянулся, (не дай-то бог кто помешает, говорил его взгляд).

– Три! – коротко и напряженно крикнул он в последний раз, что-то убрал в воздухе руками, какую-то невидимую то ли линию, то ли пустоту, и ребята у стены вдруг испуганно захлопали открывшимися ясными глазами.

Зал тихо ждал результата.

– А теперь, – устало, но очень взволнованно сказал Б. З., – повторяйте за мной:

– Я буду правильно говорить! Я могу говорить легко и свободно! Моя речь стала плавной и чистой! Давай! – махнул он рукой.

Первым заговорил тринадцатилетний в очках. В зале, в который уж раз, тихо и скорбно заплакали, но Б. З. уже не обращал на это никакого внимания:

– Я могу говорить! – сказал мальчик без всякой запинки и улыбнулся. В зубах у него были железные брекеты, для исправления прикуса. Это было так неожиданно, что в зале многие засмеялись. Мальчик опять застенчиво улыбнулся.

– Давай-давай! – подбодрил его Б. З.

– Я буду правильно говорить! Моя речь теперь будет плавной и легкой!

– И свободной! – подсказал кто-то из зала.

– И свободной! – послушно повторил мальчик.

Все произносили этот текст по очереди. И каждый раз – шесть раз – это было чудом.

Потом Лева понял, почему в отделении ночевало накануне сеанса так много подростков (а после сеанса они сразу выписались, пошли гулять, праздновать, отделение почти опустело на выходные), почему вообще так много приезжало людей на эти сеансы.

Поговорить с Б. З.

Это было чрезвычайно важным, высоким действием, как теперь понимал Лева, и такой чести удостаивался не каждый.

Таинственность и важность кабинета Б. З. была потом резко нарушена – потому что они с Ниной там делали ночную уборку (влажной тряпкой со шваброй), и они видели этот кабинет без самого Б. З., видели просто как полутемную большую комнату (Нина включила настольную лампу на столе, плюс был приглушенный свет из аквариумов), с его золотыми и синими рыбками за стеклом и старыми потрескавшимися кожаными диванами, книжными шкафами, и больше того, именно в этом кабинете он впервые сжал ее плечи, поцеловал в губы и нащупал во рту ее язык – все это за один раз.

– Ты с ума сошел! – заорала она тогда сердитым шепотом. – Ты что, с кем-то раньше этим занимался уже? Это она тебя этому научила?

– Нет, – честно признался Лева. – Кто «она»?

– Понятно, – улыбнулась Нина и обхватила его шею руками. – Только ты так больше не делай. А то у тебя рот мокрый. Ты так… без разных глупостей… постарайся… то есть, что я говорю, не надо стараться так сильно… не надо стараться… все и так хорошо… и так хорошо… понимаешь?.. и так хорошо… вот опять стараешься… вот не надо, я же тебе сказала… слушайся меня… вот так… хорошо…

Его руки скользили тихо-тихо по ее кофте с короткими рукавами – по талии, по спине, а она держала его за голову, ладони закрывали уши, и он вдруг перестал слышать этот нежный, сводящий с ума шепот и тряхнул головой.

– Ты чего? – спросила она испуганно.

– Еще скажи что-нибудь…

– Ты меня любишь? Или я тебе просто нравлюсь? Если ты скажешь «не знаю», я тебя убью. В аквариуме утоплю. Говори честно. Любой ответ устраивает.

– Люблю тебя.

– Ну и дурак. Мы же в больнице для психов, здесь любить нельзя. Нарвешься на какую-нибудь…

– Уже нарвался…

Она засмеялась радостно, раскрывая зубы, и он опять прижался к ней, ощутив грудь, и стук ее сердца, горячие нежные губы, и непоседливый язык, и этот сладкий бесконечный процесс завершили шаги в коридоре и испуганные голоса других (таких же точно, как они) доблестных дежурных, гремевших ведрами и швабрами:

– Мышь идет! Мышь идет! Атас!

Так что таинственная сакральность этого места была ими тайком нарушена, быстро нарушена, но он все равно знал, с первого дня, с первого сеанса, что на самом-то деле именно этот кабинет был святилищем, самым важным местом в жизни отделения, что здесь решались судьбы людей, и каждый – и из бывших, и из новеньких – выходил оттуда очень серьезный, одухотворенный, окрыленный, значительный.

Единственным, что помешало ему до конца осознать сеанс как высокое и торжественное действо, и всю подготовку к нему, и сопутствующие с ним разговоры «старичков» в кабинете Б. З., где они поверяли ему свои главные тайны, свое состояние, – был ночной поход на женскую половину.

Когда все улеглись спать, некоторые из них (довольно взрослые, по его мнению, ребята, лет 17–18, они были абитуриентами и обсуждали перед этим экзамены, проходные баллы и прочее) – собрались в углу палаты, сели у кого-то на кровати и стали, заговорщицки хихикая, договариваться.

– Да согласится! Я тебе говорю… Я тебе точно говорю! Никто тебя не выгонит, не сомневайся…

Он заснул, не понимая, о чем они говорят (и в голову такое не могло прийти), а в два часа ночи проснулся от легкого шума, когда они, гуськом, тихо переговариваясь, уходили. После этого Лева все понял, заснуть уже не мог, ждал. Под утро, около пяти, эти трое или четверо снова прокрались в палату, сдавленно хохоча, повалились на кровати, стали шепотом обсуждать детали.

Их слов Лева почему-то не запомнил. Почему-то вытеснил их из памяти.

Почему-то он также был уверен, что все это происходило не в палате, где лежала Нина, откуда такая уверенность была, непонятно, но уверенность абсолютная, что к ней это не имеет ровно никакого отношения. (И в своей правоте он позднее убедился, косвенным, так сказать, образом.)

Но какое-то ощущение чужих липких тайн, чужого липкого бесстыдства – во время сеанса ему сначала мешало, он крутил головой, пытаясь определить этих участников ночного похода, но в ярком свете дня, в торжественной обстановке, их не узнал.

Кстати, первое, что увидел Лева, когда зашел в отделение, были «правила».

Там не было указания, для кого эти правила – правила для больных, правила жизни в отделении, но было и так понятно, для кого – для них, для психов.

Там были всякие разные пункты – расписание дня, прием лекарств, запрещение приносить с собой еду из дома, запрещение выходить за пределы отделения без разрешения, но одно правило, самое последнее, было выделено крупными, очень крупными буквами, и оно его поразило своей простотой и лаконичностью:

«В отделении запрещается уединяться».

– Одному? Или вдвоем? – спросил Лева вслух каких-то ребят, которые были у него за спиной, и оглянулся. Их было двое, парень и девушка, они сидели за столом, парень держал руку на руке у девушки.

– По-всякому нельзя. И одному и вдвоем, – радостно улыбаясь, сказала девушка. – Наказывают за это у нас. Так что ты это запомни. Новенький?

– Новенький, – обалдело сказал Лева. И добавил: – Ну тогда я пошел…

Он вышел, пытаясь осознать главное правило и почему его нарушают – им можно, потому что они «старички», или просто они нарушают все, что можно нарушить, поскольку психи, но вскоре он понял: это было действительно главным правилом в отделении, но только это было правилом наоборот.

Его нарушали все.

Все и всегда.

Его нарушали во время танцев и просмотров телепередач в актовом зале, забравшись с ногами на широкий подоконник и закрывшись занавесками, его нарушали в саду (да, вот было еще одно потрясение – за маленьким двориком, за краснокирпичным, двухэтажным, очень уютным, кстати, корпусом отделения располагался сад, огромный запущенный сад, где бегали местные собаки, а когда-то жили местные козы, дававшие молоко, но, говорят, отчего-то сдохли, парочки гуляли и в этом саду, и они с Ниной, разумеется, тоже), его нарушали в палатах – отделение строго было разбито на две половины, мужскую и женскую, и это соблюдалось, конечно, очень строго, но сидеть одному с книжкой, или тайно мастурбировать под одеялом, или просто лежать, наглотавшись таблеток, – никому, конечно, не возбранялось.

Словом, все отделение жило именно по этому правилу наоборот – в выходные парочки встречались в городе, в будние дни во время «речевых ситуаций» в парках и окрестных улочках,

люди в одиночестве бродили по отделению, сидя в странном забытье то там, то здесь – уединение было здесь, в сущности, одним из главных занятий, это была мощная стихия, терапия уединения, и Лева потом много размышлял над этой практикой Б. З., над его «свободным режимом», который царил в отделении, ничего подобного ни в одном лечебном учреждении мира он потом не видел, прав ли был Б. З., а кто ж его знает, кто его разберет, поди докажи, а только Лева точно знал, что эта мощная подростковая стихия освободившихся (спровоцированных во многом этими порядками) чувств, страстей, эмоций, состояний помогла очень многим, и ему в том числе, а погрузить эту атмосферу в строгую колбу, отмерить дозировку этим чувствам и этой свободе было, конечно, невозможно, то есть возможно, но только с помощью палок, розог, запоров, настоящих санитаров, настоящего режима, мощных таблеток, мощного волевого нажима, подавления – а концепция Б. З., совершенно экспериментальная для того времени, подавления не признавала, он брал пациентов в союзники, в ученики, в соавторы, он не говорил этого прямо, но делал это – легко, уверенно, с огромным чувством превосходства своего интеллекта, своей творческой воли – и Лева, кстати, усвоил этот урок в своей жизни, усвоил до конца, до донышка, и никогда не испытывал радости в больших компаниях.

Кстати, Б. З. вовсе не был в восторге от этой разбушевавшейся стихии подростковой любви, внешне он относился к ней с немалой долей иронии, скепсиса, раздражения, трезвого цинизма (Лева вскоре ощутил это), а внутренне – не мог не понимать весь риск этого дела, всю степень ответственности, которую брал на себя, дети-то ведь были в отделении особые, пубертатный период переживали особенно остро, дети с фантазиями, дети в пограничных состояниях, иногда довольно близкие к суициду, иногда – к агрессии, в том числе и сексуальной, у некоторых девочек и мальчиков слишком ранняя сексуальность попросту была прописана в анамнезе, одним словом, чересчур увлеченные этим делом тут тоже могли быть, пусть в скрытом виде, не в остром, но были и такие, кем можно было воспользоваться, почти в открытую, поэтому Б. З. давил на своих, требовал пунктуального выполнения режима и правил, но как потребуешь, с таким контингентом, с такой концепцией – свобода, личность, соучастие, сестры знали, что за нарушения (до определенного предела, конечно) их взгреют, но не уволят, потому что применять насилие тоже нельзя, тоже запрещено, надо уговаривать, убеждать, убалтывать, давать таблеточки, разводить,

разлучать, разгонять, но не силой – а внушением. Силой внушения.

Не однажды Лева вспоминал свое 15-е отделение – вспоминал со странным чувством, что, пожалуй, никогда и нигде он не был так свободен и спокоен, как в этом месте, где двери запирались на специальные железные замки, ручки от которых медсестры и врачи носили просто в кармане белого халата.

Но это было все равно.

Это ничему не мешало.

План «Б»

Лев Рубинштейн. Подлива [21]

Начать, боюсь, придется с зависти – не с самого, прямо скажем, доблестного чувства. Причем не с чьей-нибудь вообще зависти, не с абстрактной. С моей, с моей собственной, активно присущей мне в детском возрасте и не уверен, что в полной мере преодоленной к настоящему времени.

Я был, короче говоря, мальчик необычайно завистливый.

Но почему-то завидовал я чему-нибудь по большей части странному, чему-нибудь такому, чему обычно особенно завидовать как-то не очень принято.

Ну, например.

Были у меня в детстве два дружка-приятеля. Один из них жил на втором этаже, и я ему страшно завидовал, потому что ему можно было целыми днями сидеть у окна, рассматривать различных прохожих и иногда даже, когда никто его не видел, кидаться в кого-нибудь из прохожих катушками из-под ниток, пустыми спичечными коробками, конфетными фантиками или жеваными промокашками.

Второй, напротив, жил в полуподвале со своими родителями-дворниками. Ему я тоже завидовал, потому что как же: подземелье, подполье, пещера, тайные ходы и черт знает что еще.

Завидовал я еще и тому, что в этой семье говорили по-татарски, что они в своем заветном подземелье могли разговаривать на тайном, непонятном окружающим языке.

Нижние половинки окон показывали лишь кирпичную кладку, а в верхних были видны бодро сменявшие друг друга башмаки и валенки, а также приземлявшиеся рядом с окном окурки, плевки, подсолнечная шелуха и обгорелые спички. Разве не интересно?

Я-то жил на первом этаже, и это было как раз ужасно неинтересно.

Также я завидовал еще одному своему однокласснику, который вместе со своей матерью и вовсе жил в проходной завода. Это был, конечно, высший пилотаж! Целый день мимо них шастали разные люди, некоторые здоровались и останавливались поговорить. В их жилище как-то помещались две перпендикулярно расположенные относительно друг друга кровати и стол с керосинкой. Где-то каким-то образом размещалась и посуда. Я это знаю точно, потому что пару раз мне посчастливилось у них пообедать. И я навсегда запомнил, что именно мы ели. Ели мы на первое суп с макаронами, а на второе – просто макароны. Мне это ужасно понравилось, а другу я

тяжело и даже отчасти злобно завидовал.

Но эти все зависти – сущий пустяк по сравнению с главной моей завистью, с завистью номер один, с завистью с заглавной буквы, с заветной, можно сказать, завистью.

Женя Ульянов, длинный и тощий, всегда какой-то бледный, тихий и неразговорчивый, мой одноклассник с первого по четвертый класс, который часто пропускал занятия, потому что, счастливчик, часто болел, однажды исчез не на день, не на неделю, не на две недели, а чуть ли не на месяц или еще дольше.

И что вы думаете! Оказалось, что его перевели в другую школу. Да не просто в какую-то там школу, нет! Бери выше – в интернат! В интернат, расположенный, заметьте, за городом! В лесу буквально! Одного, без всяких родителей и бабушек! Это уже само по себе дорогого стоит, и кто же об этом бы не мечтал!

Но ведь и это еще не все! Оказалось, что в этой школе занятий совсем мало, а большую часть времени их там заставляют гулять. «Заставляют гулять»! Вы только вдумайтесь в эту издевательски звучащую формулу.

А все почему? Почему это такая ему обломилась везуха и за что это ему такие привилегии? А всего лишь, как оказалось, потому, что у него, у этого Жени, какой-то, видите ли, туберкулез.

Боже, как я же я завидовал! Вместо того чтобы порадоваться за товарища, которому так в жизни повезло, я постыдно, преступно завидовал. До сих пор стыдно. Правда, правда!

Но это все живые реальные мальчики. А как я завидовал всем литературным сверстникам, ночующим под мостами, в шалашах, под перевернутыми лодками… Вот Гаврош, например, и вовсе жил в утробе фанерного слона. А другой отрок – забыл, как звали и из какой книжки, – жил буквально в маяке, и жил там, слава богу, один, потому что его дедушка то ли захворал и его отвезли в больницу, то ли умер и его унесли на кладбище. Да и какая разница! Кому этот дедушка интересен, если можно одному жить в маяке, зажигать вечером фонарь, а остальное время смотреть на волны и, главное, не делать уроки и не ходить в школу.

А я? А что я! Квартира, мама, папа, бабушка, брат, печка, кошка… И скука, скука, скука. Ну, под столом еще можно было худо-бедно, включив довольно бесформенный фонтан брызгавшего во все стороны воображения, мысленно обустроить нору, пещеру, катакомбу, башню на отвесной скале…

Как же меня, мальчика, выросшего в тепле и в том уюте, который оказался доступен, влекла всякая бездомность! Как привлекало сиротство! Как же хотелось оказаться вдруг в том же самом интернате, пусть даже и с туберкулезом! Как же хотелось,

подобно Геку Финну, плыть куда глаза глядят на плоту по широкой реке.

Какой там плот! Какая река! Какой интернат в лесу! Какая радостная и дарующая полную свободу бездомность! Какая свобода и прочие чарующие душу преимущества сиротства, описанные во многих книжках – от «Оливера Твиста» до «Мальчика Мотла»!

Дом, школа, двор. Двор, дом, школа. Школа, двор, улица. Улица, фонарь… И никак не дальше фонаря! Впрочем, ладно, чуть позже – уже и аптека, где мы, скидываясь по копеечкам, покупали в складчину упаковку гематогена на троих. И все!

Опыт недомашней жизни ограничивался несколькими больницами, постепенно вылечившими меня не только и не столько от болезней, сколько от мечтаний о блаженной бездомности. Нет, я все равно, конечно, о чем-то таком мечтал, но уже как-то более вдумчиво, что ли, более, что ли, разборчиво.

Первая больница была, когда мне было четыре года, и я ее запомнил очень смутно и фрагментарно. Скарлатина. Мама рассказывала, что привезла меня в больницу на санках. Вот и все. Нет, не все! Именно после этой больницы я навсегда стал бояться уколов.

Вторая приключилась, когда мне было десять лет. Меня положили туда, чтобы вырезать гланды. Помню палату, где кроме меня располагалась куча мужиков. Судя по этому воспоминанию, это было не детское отделение, а общее. Мужики играли в карты, смеялись, непонятно и шумно шутили, некоторые – их называли «тяжелыми» – стонали и хрипели во сне.

Помню и саму операцию. Я боялся, но находился в том возрасте, когда открыто бояться было стыдно, потому что «ты мужик или кто?». Ясное дело – мужик! А кто же!

Хирург Тигран Арамович Мхитарьян (вот ведь, запомнил) во время операции что-то напевал, а его черные колючие усы прорастали сквозь марлевую повязку. Помню, что сразу после операции очень болело горло и я не мог спать. Помню, что мама, пообещавшая, что после операции она мне принесет много, очень много мороженого, пришла на следующий день и действительно принесла несколько пачек мороженого, а я не смог есть. Даже смотреть на него мне не хотелось. Потом жалел, конечно. До сих пор жалею, кстати.

Вторая больница была на пару лет позднее. Это была детская больница, «Морозовская». Я там лежал на предмет какого-то обследования. Сердце, что ли? Не помню. Мне показалось, что я там лежал очень долго.

Это была зима. В палате находилось несколько по-

настоящему тяжелых ребят. Некоторые вообще не вставали. В соседней палате лежала девочка. Она-то как раз была ходячая, но про нее медсестры шепотом говорили, что она «не жилец». Врожденный порок сердца, кажется. С ней постоянно находилась ее мать.

Меня пообещали выписать к Новому году, и я этого очень ждал. Но почему-то меня не выписали, оставили еще на недельку. Так я и не попал домой на Новый год. Я очень плакал, мама, которая принялась меня утешать, в результате расплакалась тоже.

Новый год праздновался в больнице. Накануне силами медсестер и ходячих пациентов был устроен типа утренник. Меня заставили читать стихотворение про мороза-воеводу, который «дозором».

Эти больницы, эти небольшие примерки бесприютности и сиротства и одновременно прививки от них, ничего существенно не изменили в моем миропонимании. Я как был, так и остался исключительно домашним ребенком, смутно мечтавшим о какой-то иной участи.

Существует мнение, в соответствии с которым подобные детские мечтания на самом деле свидетельствуют о другом – о прямо противоположном. О поиске дома, настоящего дома. О том, что как бы ни была заботлива семья, как бы ни было натоплено и прибрано родительское жилье, многих из нас настигает тоскливое чувство бесприютности. Мы-то всю жизнь ищем родной дом, мы-то всю жизнь, когда и где бы мы ни находились, грезим о возвращении домой, а нам кажется, что мы мечтаем о трудных странствиях и житейской неустроенности.

Бывает так, что и в родительском доме человек чувствует себя как в чужом. Одного такого, наделенного на всю жизнь острым чувством сиротства, для которого не только родительский дом, но и целый мир был чужбиной, а отечеством ему стало Царское Село, одного такого, замыслившего побег и однажды навсегда сбежавшего в обитель чудную, все мы хорошо знаем.

Да, многие из нас всю свою жизнь ищут и не могут найти свой дом – не тот, в котором мы живем. Другой, настоящий. Поэтому возникает иногда властная потребность куда-то уйти. Хотя бы на время. Поэтому существуют люди, любящие жить в гостиницах. Поэтому некоторым старым людям в какой-то момент начинает навязчиво казаться, что дом, в котором они прожили многие десятилетия, это вовсе не их дом, а какое-то временное и к тому же враждебное им пространство – то ли больница, то ли тюрьма, то ли еще что. А они-то хотят домой!

Я, повторяю, был исключительно домашним ребенком. И очень, кстати, любил проводить время дома. Но именно там,

дома, я в своих безудержных фантазиях беспрестанно преобразовывал этот родной и теплый дом во что-то мало постижимое – то ли в корабль, то ли в замок, построенный внутри горы, то ли в вагон бесконечно дальнего поезда.

Я даже и в детском саду-то никогда не был. А ведь и он казался мне необычайно привлекательным. Ну, уже хотя бы потому, что там было все не так, как дома. Прежде всего еда, конечно. Все мои сверстники, прошедшие эту суровую школу, на всю жизнь запомнили эту детсадовскую еду.

И, конечно же, многие поколения бывших детсадовцев (кто-то однажды пошутил, что «бывших не бывает») неутомимо и энергично вспоминают такое знаковое (иначе не скажешь) культурно-гастрономическое явление, как «подлива».

О, подлива! О, серовато-розоватое нечто такое, что суровой поварихой плюхалось поверх котлеты и картофельного пюре! Какие сильные чувства, какую же неугасимую ненависть, какую же неутихающую боль ты, такая с виду незначительная и скромная, способна была вызвать у миллионов самых разных людей самого разного возраста, самого разного социального статуса, образовательного уровня и чувственного опыта. Сколько вдохновленных одними лишь мимолетными воспоминаниями о тебе прозаиков и поэтов отдали тебе свою посильную дань! С какими неповторимыми и трудно описываемыми интонациями произносилось и повторялось на все лады твое имя, в самом даже звучании которого мерещилось нечто подлое.

Но она, эта злополучная подлива, еще и универсальный, с ходу понятный всем соотечественникам и соотечественницам символ того фатального водораздела, что делит соотечественников на тех, кто ходил в детский сад, и на тех, кто туда не ходил.

Я, повторяю, туда не ходил. А потому я как обожал в детстве, так люблю и до сих пор всевозможный «общепит». Просто потому, что он решительно отличался от маминой домашней стряпни, которая, разумеется, казалась скучной. А вот сосиски с горошком – это да, это праздник. А столовская хлебная котлетка со слипшимися макаронами и с… Да, да! С подливой! С ней! С той самой! И не надо делать выражение лица! Да! Я ее любил и до сих пор люблю ее! Вот только пропала она куда-то…

Ну вот, собственно… Начал я этот текст своим чистосердечным признанием в постыдной завистливости. И пока я писал его, я имел твердое намерение озаглавить его тем же энергичным словом, каким назван известный роман Юрия Олеши, то есть словом «Зависть».

Но с одного признания я начал, а заканчиваю другим.

Заканчиваю я признанием в тайной, а с этой минуты и явной любви к тому, что служит одним из самых устойчивых в наших широтах знаков тоскливой бесприютности и запрятанного глубоко внутрь каждого из нас неутолимого сиротства. Да, друзья, я люблю ее. Я скучаю по ней. И ее именем я называю мое скромное сочинение.

Наталия Ким. Пролетая над куком гнездушки

Куся росла ребенком болезненным начиная примерно лет с полутора. Болеть она любила, потому что тогда вокруг нее начинали водить жалостливые хороводы, никто не ругался и не выводил на чистую воду, а там всегда было что куда вывести. Папа доставал ей красивые заграничные фломастеры, а мама и бабушка готовили только все любименькое и вкусненькое, особенно старалась бабушка, которая на самом деле не была мастером кулинарии, но точно знала, что картофельное пюре, перемешанное с жареным лучком и нарезанными «монетками» сосисками, лечит детские страдания лучше любой аллопатии. Куся хомячила эту неполезную еду от души, слушала пластинки и читала всевозможные книжки про животный мир, особенно налегая на Брема.

Регулярные сосиски с пюре и категорически запрещенные чебуреки, купленные возле ЗИЛовской проходной, в свое время таки довели Кусю до гастрита, и одиннадцатилетняя девица была отправлена на месяц в институт педиатрии и детской хирургии, сокращенно НИИПэДэХа. Название казалось угрожающим, да и Кусин папа не очень удачно пошутил – ну ты там не пэдэхай, доча, лечись. В общем, домашняя Куся впервые должна была надолго оторваться от привычного уклада и родных лиц, и она никак не хотела отпускать маму, у которой болела голова и вообще не ладилось со здоровьем. Поэтому прощанье получилось слегка истерическое с обеих сторон, его прервала фрекенбокского вида санитарка, как потом Куся узнала, носившая кличку «Липовна», потому что полностью звали ее Зинаидой Филипповной.

– Тэк-с, сопли-вопли прекратили, женщина, тут вам не варьете с перьями, а медицинское учреждение! Девочка – как бишь тебя? Пак? Че за фамилия, не пойму, пакет какой-то… ну ладно, Пак! Вещи взять, в палату – марш!

Кусю привели в палату. Двери и межкомнатные стены на две трети были стеклянными, таким образом при желании можно было видеть все, что происходит в других отсеках до самого конца коридора. Мальчиковые палаты, как потом выяснилось, располагались по другую сторону от сестринского поста. Пока никого вокруг не было, потому что дети находились на занятиях: как и сейчас, в 80-е годы в больницу приходили учителя, которые обучали детей всему тому, что они должны были бы пройти в

школе. Липовна распотрошила Кусину сумку, изъяла оттуда пару апельсинов («еду нельзя!»), сунула их себе в карман, критически окинула взором несколько томов про зверей и странную, обернутую в газету книжку. Ее Куся стащила с «запретной» полки в родительской комнате: экстренно искала что-нибудь еще не читанное про животный мир, и название «Пролетая над гнездом кукушки» – самиздат, возможно, переводчик решил, что название фильма 1975 года больше привлечет читателей, чем исходное «Над кукушкиным гнездом» – ей показалось убедительным, наверное, что-то вроде Бианки, подумала она и засунула книгу в сумку между полотенцем и пижамой.

– На черта тебе столько?.. Писали писаки, читали собаки, надо запретить это все в палатах, одна пыль да ересь… Пак! Я к тебе обращаюсь, оглохла? Стелить постель умеешь? Ну-ка, – Липовна сбросила на пол подушку и горчичного цвета одеяло, – покажь, че умеешь!

Куся постаралась как можно тщательнее застелить койку и аккуратно положила подушку, предварительно взбив ее, как в сказке про Морозко.

Липовна кривила губы:

– От сразу видно – не лежала в больнице! Кто ж так подушку ложит плашмя, дура? Смотри, как надо! – Липовна выхватила из рук Куси подушку, взяла ее за один угол, крутанула несколько раз по часовой стрелке, ловко перевернула и водрузила этот условный одинокий парус ровно посередине одеяла. – В центр ложишь, поняла? Чтоб до тихова часа ни складочки, ни ниточки! Сидеть-лежать запрещено! Давай, шмотье-хоботье складай на полку, щетку-пасту-мыло сдать мне, надписать! Приду, чтоб сей минут мне надписатое сдала! – и Липовна ушла, громко шаркая тапочками без задников.

Девочка пыталась отыскать в портфеле с учебниками ручку и поняла, что забыла пенал дома. На дне портфеля обнаружился огрызок двустороннего красно-синего карандаша, но он категорически не оставлял никаких следов на глянцевой упаковке. Тогда Куся решительно процарапала на куске мыла свою недлинную фамилию и, гордая собственной находчивостью, ждала Липовну. Та не замедлила появиться с какими-то бумагами в руках. Куся смело протянула ей щетку, пасту и мыло с художественной резьбой. Санитарка свирепо смотрела мимо, на пол. Куся поглядела вниз и обмерла – чистый коричневый пол был весь в мыльных ошметках.

– Эт-та шта за херь?! Я тя спрашиваю, дура, че за херь ты тут мне развела за две минуты, а?!

– Это… это от мыла… – пролепетала Куся, но Липовна уже

шла по направлению к двери, голося:

– Привезли блять нерусскую на мою голову! Мыло ногтями царапает, идиотка! Галя, подь сюда, притри там в шестой, там дура малолетняя наговняла!

Куся пылала от стыда и негодования. Она не привыкла к такому обращению, хотя, конечно, росла не в инкубаторе и имела представление об обсценной лексике, однако в свой адрес ее слышала достаточно редко. Вошла Галя с ведром, и Куся было попыталась предварить ее усилия словами, что она совсем не говняла, а просто только немножко мыла на пол попало, и что она, Куся, может сама убрать, но молчаливая Галя махнула в ее сторону коричневой ноздреватой вонючей тряпкой, что, видимо, означало, мол, заткнись и сиди. Куся заткнулась и сидела, пока Галя расслабленно гоняла мыльную воду по полу. И в этот момент в палаты стали возвращаться с уроков дети.

Вошли две девочки, по виду на пару лет старше Куси. Одна – тоненькая в дивных светлых кудрях, с прозрачными льдистыми глазами и черными ресницами (пухлая Куся с завистью призналась себе, что девочка очень красивая и необычная), другая – угловатая, резкая, с рыжими косичками, белокожая и очень высокая. Обе уставились на Кусю неприветливо.

– Ты новенькая? С чем лежишь?

Куся очень хотела произвести на старшеклассниц хорошее впечатление и честно ответила:

– Да мне лежать запретила тут одна вредная такая, хамка… говорит, нельзя до «тихова часу» (Куся очень похоже передразнила Липовну, был у нее такой талант к нехитрому лицедейству).

Кудрявая девочка хихикнула, а рыжая ледяным тоном сообщила:

– Ты че, больная? Зинаида Филипповна ее зовут, и это родная мамы моей тети, а никакая не хамка, ясно тебе?

Куся поняла, что влипла, и собиралась начать горячо оправдываться, но тут за ней пришли, уточнив, ела она или нет. Поскольку утром мама говорила, что сегодня есть нельзя, будут исследования проводить, то Куся ходила голодной с вечера, что и подтвердила медсестре. Та кивнула, велела Кусе идти за ней, привела ее на другой этаж, усадив на банкетку перед кабинетом с надписью «Эндоскопия», занесла туда Кусину карту и ушла – «тебя позовут». От нечего делать Куся играла про себя, как они часто делали с папой, – составляла маленькие слова из большого неизвестного ей слова «эндоскопия»: «покос, эпос, пион, поиск, кокос, поддон, поднос, писк…» Дверь открылась, и Кусю поманила пальцем докторша:

– Пак? Идем!

Куся вошла. Ей велели лечь на кушетку на левый бок и завели зачем-то правую руку за спину. Медсестра сказала:

– Значит, так – открываем рот, я тебе вставлю загубник. Потом туда будем пропускать зонд – затошнит, но ты не дергайся, терпи, так скорей все закончится, – и ловким движением воткнула Кусе в зубы пластиковую штуку, которая не позволяла закрыть рот. Перед глазами Куси появилась рыжая длинная трубка с какой-то пулей на конце, и вот это все медсестра теперь запихивала в Кусино горло. Потом Кусю держали втроем, орали, пригибали больно голову к кушетке, разок врезали по заднице, что никак не сгладило ситуацию. Ее выворачивало, глотку жутко царапало, слезы лились потоком, ей владело ощущение абсолютной беспомощности от надругательства взрослых людей, которые делают больно и страшно, от невозможности волевым усилием исторгнуть из себя чужеродный предмет, который рвал внутренности. Куся ухитрилась высвободить правую руку, крепко схватила зонд и потянула, ей разжимали пальцы и уже открыто материли. Наконец экзекуция завершилась, и рыдающую девчонку чуть не под зад коленом выпихнули из кабинета, приговаривая громко вслед, что первый раз в жизни видят такую хулиганку и вообще дрянь. Покладистой Кусе, которая всегда старалась быть хорошей и слушаться взрослых, было ужасно обидно.

Мысленно проклиная родителей, которые сдали ее этим фашистам, Куся пробиралась к лифту, собираясь немедленно сбежать, но ее отловила как на грех соткавшаяся в проеме лестничной клетки Липовна.

– Куда-а-а, как тебя, Пан! Тьфу, Пак! Куда это собралася? А ну назад, щас пойдем на кислотность тебя проверим… – она цепко взялась за Кусин локоть и поволокла ее дальше по коридору.

В следующем кабинете измученную, замурзанную Кусю опять уложили на кушетку, под бок подсунули подушку. Все повторилось снова – загубник и зонд, с той только разницей, что перед еле живой Кусей поставили на табуретке деревянную коробку, из которой стоймя торчали бесконечные ряды стеклянных колбочек. Дальше через зонд в девочкин желудок закачали, по словам ласковой (наконец-то) медсестры, капустный сок, чтобы у нее начала выделяться жидкость из желудка, которую потом надо будет проверить на что-то такое. Куся, конечно, толком ничего не поняла.

– Ты кончик трубочки опусти в пробирку, как наполнится – так в следующую суй. Это тебе часик полежать, а я как раз схожу пообедаю, – радостно объяснила медсестра и ушла. Куся

послушно перекладывала рыжий зонд в следующую пробирку, как только наполнялась предыдущая. Это было интересно, потому что сперва жидкость оказалась мутно-белой, потом зеленоватой, потом желтоватой, охристой, темно-желтой и наконец густо-коричневой. «Красиво, – думала Куся, – а интересно, что будет, если колбочки закончатся, а она не придет?» Но медсестра пришла вовремя, похвалила трудолюбивую аккуратную Кусю и отпустила ее в палату.

Обе девочки уже лежали на кроватях, потому что наступил тихий час. На Кусю они едва посмотрели, одна листала какой-то журнал, вторая изучала свои плохо накрашенные ногти. Куся села. Ей хотелось умыться, но надо было спрашивать, где здесь это можно сделать, а обращаться к девицам не хотелось. Тогда она причесалась, утерлась сухим полотенцем и достала ту самую стащенную у родителей книжку, обернутую в газету. Кудрявая девочка приподнялась на локте:

– Что это ты читаешь? – И доверительно пояснила: – Мы уже тут все по три раза перечитали друг у друга, надоело… а у мальчишек вообще книг нет, одни солдатики, а еще они из игровой пластилин таскают и нам в волосы клеят… Так что за книга-то?

Обрадованная внезапным человеческим обращением Куся выпалила:

– Пролетая над куком гнездушки…

– Что-о-о?! – Девочка села. – Где пролетая?

– Ой, прости! Над гнездом кукушки… автор вот… Кен Кизи… – Куся уже чуяла, что случилась катастрофа, но было поздно.

– Ха-ха-ха! Как ты – над куком гнездушки? А-а-а! Автор – какой? Киси-писи? Ларка, ты слышала? У нее куко… кука… гнездушки, а-а-а!

Девицы ржали, булькая и всхрюкивая. Длинная Лариса выскочила из палаты, зажимая рот, и было слышно, как она в коридоре кричит шепотом – «Вов, выдь, че скажу! У нас там дура новенькая, Пак фамилия, она…» – неразборчиво, потом взрывы гогота. В дверях палаты показался тощенький очкастый парнишка, который, тыча в Кусю пальцем и оборачиваясь назад к Лариске, спрашивал: «Эта, что ли, Пак? Ты Пак? Ха-ха-ха! Киси-писи! Гнездушка-пакушка, гнездушка-лягушка, гнездушка-раскладушка, гнездушка-пампушка!» Толстая Куся легла на кровать и спрятала голову под подушку.

…История про глупую оговорку быстро облетела всех, кому было интересно слушать про жирную новенькую с идиотской фамилией. Рифмы к слову «гнездушка» в исполнении мальчишек

в столовой и жарким шепотом на уроках становились все непристойнее. На обходе улыбались уже не только медсестры, но и врачи. Один из них повертел книгу в руках, хмыкнул, увидев самиздат, спросил, знает ли Куся, о чем там говорится. Куся мрачно ответила, что не читала пока. И не читай, сказал врач, это тебе рано еще, это про больницу (он понизил голос) для психов, давай-ка я пока у себя в кабинете спрячу, не надо, чтобы кто попало это видел. Не реагируя на Кусины робкие протесты, положил книгу в папку и вышел вместе с коллегами продолжать обход.

Куся прожила этот месяц «как лосось на вершине большой египетской пирамиды» – эту фразу она слышала на пластинке по книге Диккенса «Сверчок на печи», про себя ей было приятно произносить ее с горечью и безысходностью. Она ни с кем больше не разговаривала, ела еду без соли, ходила на ЛФК, жевала отвратительный гастрофарм и глотала не менее мерзкий, похожий на рыбью икру аэвит. Живот болеть перестал, на уроках в больнице было мучительно скучно, просить книги у других детей она не хотела из упрямства и гордости, а любимый Брем больше не приносил радости, словно проклятый роман Кизи каким-то образом скомпрометировал и «Жизнь животных». Мама часто приезжала к Кусе и никак не могла от нее добиться, почему она такая унылая. Куся боялась рассказывать ей про книгу, а того доктора она почему-то больше не видела и не знала, как его зовут, чтобы хоть кого-нибудь спросить, как его найти. И только перед самой выпиской она вдруг услышала голоса, поняла, что как раз идет этот человек, рванула в коридор и увидела его, держащего ее книгу в руках, весело что-то рассказывающего молоденькой медсестре. Куся подошла к ним:

– Меня завтра выписывают. Отдайте, пожалуйста, мою книгу…

– Какую-такую книгу?

– Как какую… эту, – Куся подбородком показала на знакомые полустершиеся уже буквы с передовицы «Правды», в которую был обернут томик.

– Девочка, ты ошибаешься. Во-первых, я тебя первый раз вижу, во-вторых, это мое. Зачем тебе взрослые медицинские книги?

– Как… как – медицинские? Это же… это моя книга, Кена Кизи (она тщательно выговорила), вы ее у меня на обходе забрали…

– Да что ты говоришь, – врач ухмыльнулся, снял газету и сунул ей под нос издание, – ну-ка, читай, что тут написано?

Куся тупо уставилась на обложку, где значилось «Атласъ по

анатомии человека» 1918 года издания, составителя звали очень сложно, типа «Вернеръ Шпатегольцъ». Это явно была уменьшенная фотокопия изначально большого по формату атласа. Но газета – газета же была точно ее, вот же и дата – апрель 1985-го…

– Ну? Ты ошиблась, девочка. Иди в палату.

Потрясенная до самых глубин души Куся в палату не пошла. Она понимала, что доктор присвоил себе роман и она теперь ничего никому не докажет. Куся спустилась этажом ниже, где лежали младшие, и зашла в женский туалет. Она смотрела на улицу в дырочку, которую дети прокарябали в замазанном белилами до половины окне, и вдруг услышала дикое верещание. Детский голос с акцентом отдавался от стен сортира: «Жэнщина! убэри сваи руки от меня! Убэри! Зарэжу! Не смэть меня хватать! Я папе скажу, он всэх, всэх вас зарэжэт!» Дальше топот по коридору, крики, визг, низкий мальчишеский рев. Куся вышла посмотреть, но увидела только захлопывающуюся дверь, из-за которой доносилось: «Нэ надо колоть попу! Нэ надо, прошу! Нэ хачу! А-а-а-а! Больно! Больно, собака! Убью!» Через мгновение дверь распахнулась, из нее выскочил зареванный мальчик лет пяти, поддерживая на ходу пижамные штанишки, пулей залетел в женский туалет мимо Куси. Выскочившая парой секунд позже красная потная медсестра, держащаяся правой рукой за запястье левой, и рявкнула:

– Ты что тут делаешь?! А ну, марш наверх в свое отделение! Где этот мерзавец?!

– Он туда побежал! – Куся показала вперед по коридору.

– Ну он меня щас получит, урод! – Она побежала в направлении, указанном Кусей.

Куся зашла обратно в туалет. Из-за двери, где уборщицы держали халаты, швабры и ведра, доносились всхлипывания. Куся тихо постучала:

– Мальчик… она побежала в палаты, наверное… ты не бойся, я никому не скажу… – Она помолчала. Звуки стали тише. – Очень больно было? Как тебя зовут, мальчик?

– Дато, – ответили из-за двери. – Больно, ай. Я ее убью, собаку. Я ее кусил. В руку кусил, сильно.

– Это ты молодец, – одобрительно сказала Куся. – Я бы так не смогла, даже если бы захотела. А у меня один врач книжку отобрал, спрятал где-то у себя и говорит, что я все выдумываю и ничего он не трогал.

– Тэбя ругат будут? – заинтересованно спросил Дато.

– Не знаю… я эту книжку украла из дома, у родителей, – вдруг созналась Куся.

Дверь приоткрылась, в щелку глядел опухший от слез любопытный глаз.

– Украст – вай, это плохо, это накажут. Это палкой могут дажэ, раз и два, – важно откомментировал Дато. – Я вот украл – так, случайно – монэтку взял. У брата там взял. Мэня палкой побили, два раза. – Дато показал два пальца. – А ты гдэ лэжишь – навэрху? Ище ка мнэ придешь дружить?

– Нет, – вздохнула Куся, – не смогу, прости. Меня завтра выписывают…

– Абидно, – помолчав, сказал мальчик. Куся повернулась идти. – Падажды, – взволнованно снова заговорил Дато и вышел из кладовки, – дай мнэ руку. Ну? Дай руку свою, нэ бойса!

Куся протянула руку, малыш вложил в нее сплетенного из трубок капельницы чертика:

– Дэржи. Пусть твой будэт. Скажэшь мама – Дато подарил.

– Спасибо, – растроганно сказала Куся. – Спасибо, Дато. Ну, не болей. Чтоб скорей дома был. – Она чмокнула его в макушку и пошла к себе.

Родители так и не заметили пропажи самиздатской книги. Через какое-то время она вышла, и они приобрели роман Кизи в нормальном, не кустарном переводе, и Куся его с удовольствием прочла. Собственно, мама с папой даже и не узнали бы об этом, если бы 18-летняя Куся не рассказала зачем-то им эту историю, когда собиралась первый раз в роддом. Она взяла туда с собой чертика из пластиковых капельничных трубок. На удачу.

Маша Сумнина. Адаптация [22]

21 сентября 2001 г. мы прилетели в Америку делаться американцами. Не по моей воле. Ну на свет мы тоже не по своей воле появляемся, чего уж там, приходится принимать как есть. Тут, в эмиграции, тоже были задействованы родители. Мишины.

В общем, стечение обстоятельств и упаковка всех своих вещей под круглосуточно включенный телевизор, где все снова и снова непоправимо рушились башни-близнецы, застилая мир дымом, сделали свое дело, и я физически стала ощущать, что у меня отрубают корни. Корни эти на удивление росли у меня повсюду – в животе, в ногах и особенно в голове.

Почти три года в Америке, в мире, который еще не был так сближен скайпом, фэйсбуком и мессенджерами, были хоть и мучительным, но важным испытанием, о котором я не жалею. Этот отрыв от своих, от языка, от контекста, от работы, и главное от Дома, мне помог пережить и осознать Текст. С первого дня я начала писать дневник, сначала в тетрадках, а потом, когда появился компьютер, я завела прототип ЖЖ: каждый день я посылала литературный отчет о прожитом дне подписчикам – семье и друзьям.

Для этой книги я адаптировала мои очерки, напечатанные тогда в газете «Иностранец», про самый первый опыт эмигранта-неофита, а дальнейшие мои приключения в сокращенном виде выпустило книгой издательство «Центрполиграф», когда мы наконец вернулись домой.

Ну, в общем, вот:

ОТЪЕЗД

Оказалось, что все необходимые в жизни вещи занимают четыре огромные сумки. И еще вязальная машина в двух коробках.

Рано утром заглотила весь арсенал успокоительного. Пришли Дельфин с Катей, и мы все, вместе с Мишей, Юрой и Варей, загрузились в микроавтобус. За нами на машине – мама. Молча доехали до Шереметьево. Перетащили весь скарб внутрь и когда взвесили, выяснилось, что наши домашние весы льстили, так что посреди аэропорта пришлось расстегивать замки и вынимать: бронзового индийского слона, розовую шерсть, книгу по фэн-шуй.

Откуда-то вырос парень в форме и с тележкой, который сказал «щас все сделаю» и очень быстро сделал так, что мы

оказались уже за забором, машина запаяна в полиэтилен, а я, заливаясь слезами, обнимаюсь сквозь забор с ребятами. Мама как-то просочилась до паспортного контроля.

Потом я была уже за границей, на меня оборачивается паспортистка, и видно только ее глаза через щель, она не произносит ни слова, видя, что у меня за документы и какое у меня выражение лица. Потом – 11 часов верчения в кресле самолета и приземление.

Мы оказались в полупустом зале без окон, где из пассажиров быстро отфильтровались люди с такими же беженскими пакетами, как у нас, и стали ждать перед окошком, на котором висел странный знак: американский флаг, но звезда одна, а окружает ее полумесяц.

Поднявшись из подземелья наверх, попали в объятия многочисленной Мишиной семьи. С применением суеты и сумятицы распределились по машинам, поехали в город. Я была настолько изможжена, что, в общем, не помню, какое было первое впечатление. Постоянно пытаешься сравнивать с тем, что знаешь и видел, и это на все похоже, так как тут живут люди отовсюду, но при этом все какое-то недоделанное, смазанное.

По дороге заехали за socialsecuritynumber – нашим первым номером. Здесь все время номера – номер в очереди, номер твоего существования, номер твоей карты, твоего дела, твоего всего.

– Вэлком ту Америка! – сказал первый встречный американец – необъятный конторский человек – и распростер огромные объятия.

ВОДВОРЕНИЕ

Закончив с номерами, по зеленым горкам и цветущим холмам прикатили на улицу из мелких домиков.

В квартире составлены два стола, накрыты скатертью и расставлена советская, знакомого с детства дизайна, посуда.

Разница во времени Москвы с Сиэтлом 11 часов.

11 человек родственников хотели пировать и праздновать.

Я хотела раствориться и поливала пирожки с капустой неиссякающими, еще из Москвы привезенными, слезами. Потом мы наконец заснули и спали до следующего утра.

КОНТОРЫ

Началось хождение по конторам. Почему-то они без окон и

ужасно замызганные.

Наша самооценка от них сильно понизилась, и мы оба стеснялись зайти в магазин одежды или модных штучек, казалось, наши карманы просвечивают, сияя фуд-стэмпами и вэлфером. Только через некоторое время мы стали получать удовольствие от внезапного свалившегося на нас коммунизма – можно бесплатно получить еды в супермаркете. Поначалу мы проводили там часы, бродя между бесчисленными полками и коробками. То и дело спохватываюсь, что у меня все время крепко сжаты кулаки, руки сами собой сжимаются.

МАШИНА

Мишина мама решила купить машину. Брат Юра вызвался помочь. Поехали на аукцион. Надо приехать утром. Машины стоят рядами. Покупатели ходят и осматривают их. Заглядывают в пасть, нюхают под хвостом и т. д.

Потом под навесом все садятся на скамейки, и два дядьки начинают действие. Один стоит на трибуне с бейсбольной битой в руке, другой внизу. Машины по очереди въезжают под навес, мальчик одевает машине на хвост трубу. И первый дядька начинает читать рэп, суть которого – описание машины и цены, которая по непонятному мне механизму то опускается, то поднимается, дядька снизу в такт выкрикивает цифры, показывает их пальцами, а иногда просто кричит и свистит. Дети танцуют. Публика кричит и хохочет. Почти никто ничего не покупает.

НЬЮ-ЙОРК

Наконец закончилось безделье и обжорство, и мы собрались в Нью-Йорк.

Уложили опять свои гигантские беженские баулы, перемотали их скотчем и приехали в аэропорт. Там нам говорят: «Компьютер случайно выбрал вас для более тщательной проверки…»

Латиноамериканец и украинка, в резиновых перчатках, целый час препарировали наши пожитки, доставая розовые лифчики, грязные носки, деревянную лошадь, коробочки, письма и фотографии и с недоумением все это разглядывая.

После того как они с трудом все запихали и замотали скотчем заново, мы попрощались с родственниками и пошли по

коридору. Здесь можно сказать, что ощущения у меня были, как полагается героям хрестоматийных фильмов и книг – когда они идут по коридору навстречу будущему и т. п.

Меня даже на время перестало тошнить.

Сиэтл был отстойником-накопителем, может, и Америкой, но не в полную силу.

На входе в самолет нас еще раз обыскали (на билете нам поставили знак, что мы особо опасные) и нашли у меня старинную коробку с кнопками и лезвием, засуетились, стали спрашивать друг у друга, что это такое, отняли. (Кстати, почему я вообще взяла это с собой в эмиграцию, а?) Мы пытались объяснить, мол, кнопки высыпьте, коробочку отдайте. В конце концов отдали, но зато дали на двоих только одну подушку, на которой мы безнадежно пытались заснуть, а в иллюминаторе сквозь облака просвечивали огни города.

ВТОРОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ

В восемь утра, а по сиэтлскому вообще в пять (даже тут мы преодолели временной пояс), приземлились, собрали свое добро и стали ждать Шуру (мою лучшую подругу) с Михоном (Мишиным кузеном). Они забрали нас на серебряной «вольво», мы все запихали в нее и поехали в город. Под вдруг начавшимся ливнем.

Смотрю в окно. Вижу густонаселенное и очень стройное кладбище с высокими стелами, переходящими на заднем плане в вертикали Манхэттена, такого же густого и стройного.

ДОМ ПЕРВЫЙ

Приехали к Шуре домой, где нам предстояло прожить какое-то время.

Дом в Бруклине, в черном районе. У подъезда, вместо старушек, но такие же любопытные, – драгдиллеры, главный – в кепке набекрень и с ярко-розовым шрамом на лице.

Миша с Михоном тут же отправились в оперу, а мы с Шурой пытались заснуть и даже легли под одеяло, но тщетно, так как приходилось все время вскакивать и показывать друг другу то платье, то ботинок, то фотографию.

Потом пришел Шурин бойфренд, приготовил баранью ногу. Но оказалось, что есть я не могу. Как-то внутри все так сжалось, что, кроме кефира, ничего не протекает.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

По выходным принято всем идти завтракать в кафе.

Встретились с Михоном и его китайской гелфренд Картиной и стали на перекрестке спорить, куда идти. То есть я-то не спорила, потому что помирала от голода. Наконец пересекли поток бегунов с номерами на грудях, некоторые с костылями – нью-йоркский марафон. Пришли во французское кафе в саду. Все расселись, шурша галькой, под солнышком, благодать и все такое.

И вдруг я ка-а-ак заплачу. Почему – не знаю, как прекратить – не знаю, плачу и плачу. Все удивились. Я тоже. К тому же выяснилось, что не могу ни слова сказать по-английски. И есть тоже не могу. Вежливый официант пытался перейти со мной на французский – безуспешно.

Оказалось, что я не могу говорить, хотя еще в Сиэтле могла. Как-то все слова забываются.

ПОИСКИ ЖИЛЬЯ

В первый же день, утерев слезы, на выходе из кафе оторвали объявление о сдаче квартиры и отправились по адресу. Дверь открыла веселая черная тетя в шляпке и пригласила подняться на третий этаж, по лестнице, точь-в-точь такой же, какие мне снятся: ты по ней поднимаешься, а она за тобой рушится. Взобрались и оказались в квартире, потолок в которой я могла достать вздыбившимися волосами, не вставая на цыпочки. Зато в крошечной кухне два холодильника: «One for food, one for meat», – объяснила тетя.

Кроме того, выяснилось, что я не могу подняться на третий этаж – не хватает дыхания.

После этого мы много где были. В черном районе, в хасидском районе и у русских. По газете и с риелтором. Были в каморках ужасных и каморках симпатичных, но в такие нас не брали, потому что у нас нет работы и кредитной истории.

Плюнув на маклеров и газеты, стали просто заходить в ремонтируемые дома. Надо сказать, что при довольно однообразной архитектуре внутри здания может оказаться все что угодно – от просторных светлых комнат до вонючего картонного скворечника. Забрели на черную улицу. На углу стоит машина, из которой доносится веселая музыка, и все прохожие приплясывают, иногда им даже приходится останавливаться, чтобы исполнить особенно отточенное движение. Мы тоже

двигаемся пританцовывая. Из верхнего окна одного из домов высовывается голова с дредами, раскачивается в такт. Шура кричит: «Не сдается ли тут однокомнатная квартира?» Голова поет в ответ: «Однокомнатная-однокомнатная не знаю двухкомнатная-двухкомнатная может постучи попопостучи-ка в туттут-т-туту дверь там живет Макс, хэй мэн, он скажет тебе».

В конце концов мы нашли сказочное жилье – за 750 долларов трехкомнатная квартира с камином, недалеко от ребят и с хозяевами японцами, делающими витражи. Вот последний пункт нас и подвел. Приняв японку за китайку, мы агрессивно оттеснили еще одного претендента и в три голоса стали беспардонно нарушать тишину: «Чудесно! Берем! ах как мы хотим здесь жить!»

Японка немного попятилась, дала нам заполнить бумаги и пропала.

Надо было уже на что-то решаться, и мы сняли квартиру в польском районе, на пуэрториканской улице, в доме, принадлежащем хасиду. Поднимаешься по темной узкой лестнице, проходишь мимо соседской двери, на ней бумажка: «Имя – Иисус, возраст – 33, профессия – Бог», мимо забитой двери в нашу спальню и, отперев хлипкий замок, попадаешь прямо в так называемую гостиную. Вместо кухни закуток для готовки. Окна только в одной комнате, зато две забитых двери в спальне.

Покрасили стены, повесили картины, стало получше.

На третий день пришел таракан, семи сантиметров в длину. Соседи – очень веселые пуэрториканцы. Слушают музыку ночью и днем. Танцуют. Подпевают. По-английски не говорят, но иногда ночью стучат в дверь, чтобы побеседовать по-испански. А еще они готовят еду. Свинячьи ножки с бобами. Нет границ для запаха и звука.

БАШНИ

Поехали посмотреть на руины поздним холодным вечером. Уже в метро чувствуется запах гари. В переулке нас догнал мальчик, одетый только в майку: «Скажите, как добраться до парома? Моего друга только что застрелили».

Руины окружены забором и причитающими любопытствующими. Поднимается дым. Наверное, так пахнет в аду. Мертвенно подсвеченные дома вокруг и знаменитый острый обломок, уже превращенный в поп-икону в виде картин, фотографий и скульптур. Недалеко, на расстоянии запаха гари, есть магазин. В витрине вставлены новые стекла. Внутри –

тщательно сбереженная пыль, покрывающая выставленные вещи.

МЕТРО

Огромное, разветвленное и очень запутанное. По путям ходят огромные упитанные крысы. Течет сомнительная вода. Нужно научиться разбираться в направлениях, экспрессах, локальных поездах и разных буквах на поездах. Если промахнулся, то, чтобы сесть в обратную сторону, иногда приходится выйти на улицу и войти в другой вход.

Платформы узкие, а выход на улицу – лестница посреди платформы, так что до обрыва остается меньше метра. Проходить там – замирает сердце. Поезд все время норовит остановиться в туннеле.

С метро-то и началось. Разобраться-то я с ним разобралась, а вот одна ездить, оказалось, не могу. Сначала я этого не знала и поехала. И вдруг на меня напал необъяснимый ужас. Руки стали такими мокрыми, что капало на пол. Закружилась голова, и я стала патологически засыпать. Никакие самоуговоры типа «я спокойна» не помогли. Только мысль о том, что я доеду-таки до Шуры и она отвезет меня обратно домой, удержала от падения в обморок. Так с самостоятельностью было покончено.

СУМАСШЕДШИЕ

Сумасшедших здесь много, и они разнообразны. Черная тетя в оранжевом входит в метро с тележкой, в которой лежат продукты, и экстатически хохочет. Садится и начинает по очереди доставать – молоко, салат, помидоры, консервы… Вздымает их к небу и поет благодарственную песнь, в конце добавляя «аминь!» и разбавляя хохотом.

Белая девушка в мятом пальто и с картонкой под мышкой едет на эскалаторе в золото-мраморном торговом центре и ревет в голос, как ревут дети в игрушечном магазине. Идет по направлению в уборную и там упирается в толпу – где ее наконец начинают спрашивать, в чем дело. «Я два месяца беременная, и я боюсь, что он выйдет!» – говорит она. «Не выйдет», – успокаивает женщина и куда-то ее уводит.

Черный человек дефилирует по платформе метро и с очень хорошей дикцией произносит текст: «Женское равноправие – это фикция, никакого женского равноправия нет. Они подавили нас. Вот вы, девушка с совершенно секретным дневником, что там у

вас? шифр? код? ну скажите, девушка с дневником!»

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Кошек нет. Белки есть.

Еще есть крыса в потолке и мышь на кухне.

Судя по звуку, который по ночам издает крыса, размером она должна быть с кошку. Поскольку за все это время она так и не прогрызла потолок и не вывалилась на пол, я ее бояться перестала. Но вот когда я столкнулась лицом к лицу с мышью на кухне, я, неожиданно для себя, так заорала, что мышь кубарем повалилась за холодильник, а я, рыдая, примеривалась – нельзя ли будет как-нибудь устроиться спать на столе. Рыдала я не потому, что боюсь мышей. А потому, что здесь так легко почувствовать себя беззащитным, почувствовать, что у тебя нету крепости, дома, где ты один хозяин и никто тебя не потревожит, не нарушит твоего личного пространства.

БОЛЕЗНЬ

В Америке ты не виноват, что ты толстый, глупый или не можешь ездить на метро. После нескольких ночных кошмаров и когда стало ясно, что никуда я одна ходить не в состоянии, решили вести меня к врачу.

Оказалось, что не я придумала такую болезнь. Называется это «панические атаки» и лечится таблетками. Так что теперь каждый понедельник, как положено нью-йоркцу, я посещаю психотерапевта.

Все это, конечно, стоит денег. Но таким, как мы, можно получить временную бесплатную страховку. Называется «медикэйд».

МЕДИКЭЙД

Встали рано и поехали в контору на Кони-Айленд – полтора часа на метро.

Наконец вышли на пустынную улицу вдоль океана. Ветер бумажки носит. Слева стадион. Справа забор. За забором огород. Несколько грядок, обложенных камнями. На грядках клочковатая капуста. Посередине стоит елка, украшенная золотыми лентами. Добрели до конторы. Входим. Охранница сразу нам говорит: «Вам

за медикэйдом на третий этаж».

На третьем этаже вышли из лифта и встали в какую-то очередь. Опять к нам обращается охранница и говорит: «Вам за медикэйдом – за угол». На лице у меня уже, что ли, написано, что я больная?

За углом нам быстро дали какую-то бумажку и новый адрес. Мы опять поехали и оказались теперь уже в китайском районе и в китайской конторе. Комната, перегороженная шкафами. За шкафами большой стол. За ним китаянки. Молодые лапшу едят, старые вяжут шапочки.

«У нас, – говорят, – обед, ждите за шкафом».

Сели мы за шкаф. Постепенно стала накапливаться очередь. Ворвалась крашеная громкая украинская тетка в бархате и с перемотанной рукой. С налету стала одновременно со всеми беседовать: «Я уж 15 лет здесь, а лучше нашей страны нету. Вот я первый раз сюда приехала, думала, какие тут квартиры! Какое метро! А вот увидела эти квартиры, это метро, стала плакать и развивать себе депрессию. Вот в прошлом годе в Москве была – красивая! Вот бы фиктивно жениться. Есть же фанатики, что сюда рвутся, а я бы туда!..»

Но тут китаянки доели свою лапшу и позвали нас за шкаф. За большим столом вяжущих старушек стало еще больше, и, посуетившись немного, девушка вынула в проход складной стул и стол, за которым моментально заполнила наши бумаги.

Через две недели у нас был медикэйд, и я им воспользовалась.

ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ Я ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ МЕДИКЭЙДОМ

Приехали в поликлинику в русском районе. Там я быстро стала известна под именем Марина Митрохина (вместо Митурич, как в паспорте), на что послушно откликалась. Грубовато-добродушные регистраторши сказали: «Ну уж Мариной записали, так и оставим для удобства».

Попасть я должна была к доктору Голдбергу. За дверь забирали сразу по несколько старух. Выходивших сортировали: «Шварцман! на улицу! Гофман! на улицу!»

Потом и меня завели за дверь, где добрая тетка опросила, замерила и взвесила. «Вес, – говорит, – бараний!»

И дала булку.

Дальше я попала к доктору, у которого в руках уже была заведенная на меня папка.

Доктор снова стал спрашивать. Например, где я жила

в Москве. Потому что он-то жил в девятиэтажке на Малахитовой, а потом и на Чернышевского. И на Ленинском тоже.

После этой интенсивной медицины заглянули в зоомагазин, где обнаружили странного, насупленного голубого зверя в двухэтажной клетке – что-то среднее между кроликом, кенгуру, тушканом и хомяком. Кроличьего размера. Очень насупленное. У него был нахмуренный лоб в складочку, пушистый хвост, длинные аристократические пальцы, а в глазах отчаяние.

В соседях у него был развязный гигантский белый попугай, который то и дело долбил в разделяющее их стекло. Я это существо хотела погладить пальцем в бок, но оно подпрыгнуло прямо на второй этаж своей клетки. На ценнике не было названия, а только цена – 240 долларов.

Потом не могли пройти мимо магазина русской еды, размашисто названного «Интернешнл фуд».

Там продавщица рыбного отдела разговаривает с Раей:

– Ну как, Раечка?

– Пиздячим-пиздячим, а просвета не видно.

– Да его и не будет

– Мишка больно-о-о-й! Уже и на уши перешло, оглох-ослеп!

– Так я тебе когда еще говорила, менять его надо.

– Да-а-а, или менять, или на запчасти.

ИНВАЛИД

Итак, доктор Голдберг с Малахитовой направил меня к психиатру. В следующий четверг меня привезли в то же место, но в соседнюю дверь. Перед дверью висит табличка – «ноги не снимать». На стойке у регистраторши лежат два списка: «ноги» и «психиатр». Громкая тетенька спрашивает: «Вы на ногхи или на гхолову?»

«На гхолову», говорю.

«Ну, записывайтесь и садитесь».

Сидим – вокруг одни старушки. Кто на гхолову, кто на ногхи. Всем опять булки раздали. Те, кто завсегдатаи, с пакетиками приходят и в них булки заворачивают, и в сумки кладут. По телевизору концерт Баскова показывают. Это пациенты со своими любимыми записями приходят и их крутят.

Наконец, выходит сероглазый человек в сером костюме и зовет меня, все еще Марину (это я или уже не совсем я?), в крошечную фиолетовую комнатку. Напротив моего стула зеркало – одно из тех, в котором ты всегда некрасивый и болезненный.

Сам доктор железный – нельзя предположить, что этот человек страдал хотя бы насморком. С улыбкой расспросил меня о моих симптомах и с улыбкой заявляет: «Дело плохо, но вылечим». Я кокетливо говорю: «Ох, вы понимаете, так глупо себя чувствую, – вроде с виду здоровая, а как инвалид…» А он, не отклеивая улыбки: «Почему как? Вы и есть инвалид!»

Выписал таблеток. Велел приходить через две недели. Две недели прошли как во сне, потому что, пока организм ужасно привыкал к таблеткам, я почти не выходила и опасалась вставать. Через месяц я поехала сама на метро. В зоомагазин, проведать зверя. Его клетки не было.

– А где голубое существо? – спросили мы служителя, такого же невеселого, как зверек.

– Не существо, а шиншилла. Не адаптировалась она. Домой отправили.

Линор Горалик. В белых халатах [23]

Перед Новым годом построили всех к врачу. Сначала с утра рисовали открытки родителям, пели уже спетое на утреннике две дня назад, ели вермишель с молоком, он ненавидел и не доел и занервничал, поэтому на всякий случай попросил добавки хлеба и запихнул в себя, и за вермишель не ругали. Потом сдали открытки на проверку, и всем, кому надо, поправили буквы, а тем, кто не знал цифры, сказано было вот тут, в углу, оставить много места, воспитательница напишет. Он знал цифры, но на всякий случай оставил много-много места, все нарисовал тоненькой полосочкой понизу, маленькое-маленькое: и елку, и бабушку, и еще две елки, и звезду. Цифры тоже написал, первые две просто умел хорошо, а последние две были легкие, – как будто одна и та же, только вверх головой и вниз головой. Так он их и написал, пыхтя и переворачивая листок, но, когда проверяли – оказалось, что перепутал, какая вверх, а какая вниз. Воспитательница стерла хлебным мякишем, а потом вдруг рассердилась и сказала, чтобы все перерисовал нормального размера, не писал цифры, оставил в углу место, она напишет. Хорошие открытки уже повесили на стенку, только он и Гагнус еще перерисовывали, и воспитательница быстро, точно выхватила у Гагнуса карандаш, вжик-вжик – нарисовала еловую ветку очень красиво, на ней ровный шарик, с ленточкой, написала цифры, сказала: «Ты – раскрашивай, ты – срисовывай». Он срисовывал, устав уже до невозможности, до закрывающихся глаз, его посадили поближе к воспитательскому столу, чтобы не мешал другим, пока ставили раскладушки на тихий час. Тут подошла нянечка и заговорила с воспитательницей тихо-тихо, он навострил уши: если на полдник из остатков вермишели бабка, надо было подготовиться, а если нет, то и слава празднику, как говорит старая соседка по квартире, надолго запирающаяся в туалете и бесящая этим бабушку, но к вечеру получающая прощение, стук-стук в дверь, заходите, Алена Михайловна. За окнами шуршат грузовики, бабушка и Алена Михайловна по очереди читают вслух газету, чтобы меньше уставали глаза. Воспитательница встала из-за стола, постучала по открытке ногтем – вот тут закрасить не забываем. «Говорим, куда?» – тихо спросила нянечка. Воспитательница подумала и сказала: «Первые вернутся – все равно наболтают». «Что ли, строим или по одному поведем?» – спросила нянечка. «По-любому никто спать не будет, хоть обшипись», – сказала воспитательница с тоской и четко скомандовала уже полусонным: «Так, все-надели-трусики-

носочки-сняли-маечки-повесили на краешек-встали-ровненько-считаю-до-пяти!» – и пошла вдоль раскладушек четыре-пять-шесть-семь-восемь, ногой поправляя сдвинутые в сторону железяки, разворачивая за голые плечи в другую сторону глупеньких, которые встали к раскладушке лицом. Пересчитала всех девять десять одиннадцать построились парами Вешкин руку мне хватит возиться. Он бросил мерзкую открытку, с радостью побежал, хотя давать руку воспитательнице не любил, идти с ней было неудобно и очень быстро. Она оглядела его, единственного одетого-обутого, быстро помогла снять шорты и колготки, расстегнула рубашку, вытряхнула из майки, все построились держимся крепко пошли. Пошли не на двор, а через кухню (он изумился огромным кастрюлям и гигантскому чайнику, и невиданным жирным сковородкам), встали маленькой колонной в тесном коричневом коридорчике, за дверью медсестринская. «Значит, так, – было сказано им, – заходить будем по одному, я впускаю, с врачом не разговаривать, у врача времени нет, у него таких, как вы, сегодня еще триста тридцать садиков, отвечать, что скажет, делать, что скажет, слушаться, как меня, голову не морочить, если больно – потерпеть, взрослые люди, вышли – пошли в конец строя, стали, за руки взялись, тихо ждем, няня Геня замыкает, меня не позорить, все понятно?» – и человек в белом халате, с черным, как ему показалось, лицом появился на пороге. Что-то вялое строй пропищал воспитательнице в ответ, что-то четкое сказала она, и уже более четко откликнулся строй, воспитательница лязгнула в третий раз, и строй откликнулся уже дружно и звонко, как положено. Все это он слышал, но ничего не разбирал, потому что ужас, черный и предсмертный, начал заливать ему живот и грудь, поднимаясь к онемевшим губам и к щекам, которые сейчас казались чужими, и в середине этого неподвижного ужаса так колотилось сердце и какие-то от него идущие жилки, что ему казалось, будто все тело его с бешеной скоростью раскачивается и бьется, и только один раз до этого он знал такой ужас – когда соседская овчарка Глашка, невменяемая и пружинистая, распахнутой пастью почти уже навалилась ему на лицо, и он понимал, что бабушка в это время кричит и бьет Глашку палкой по голове, а что кричит – не понимал и в бабушкину силу не верил, а знал только, что вот и все. Сейчас же он, сам того не замечая, сжался весь вниз, то есть осел на корточки, измученная рука выскользнула из воспитательской замешкавшейся ладони, и он слепо пополз между голых ног в сползающих носочках, и, видимо, выл, и кто-то с визгом отскакивал в сторону, прижимался к стенкам узенького коридорчика голой кожей, кто-то из мальчиков заревел, он

ткнулся лбом в серые толстые чулки, хлопнули над спиной пустые нянечкины ладони, он понял, что это тупик, и быстро, слепо развернулся в другую сторону, и, завывая, пополз обратно, щелкнула и порвалась на трусах резинка, за которую нянечка сумела было уцепиться, он полз и тихо-тихо выл, путаясь коленями в осевшей тряпке, и когда ловкие холодные руки перехватили его, он, пытаясь вырваться на свободу, начал бить ногами, не замолкая ни на минуту, но одна рука крепко держала его под мышками, врезавшись в кожу острым колечком, а вторая подхватила под колени, и он все еще пытался спастись, но воспитательница шептала ему в ухо «ну что, птичечка, что, Яшенька, что случилось, что такое», и внезапно он, как тогда, лежа под Глашкой, понял, что уже не уйти, вот и все, и прошептал, обмякнув всем телом: «Убьет, убьет». «Птичечка-птичечка, маленький-маленький», – шептала воспитательница и покачивала его, пока няня Геня наводила порядок, подталкивая спинки, присовывая ладошку к ладошке («вы – пара, вы – пара, вы – пара, у всех пара?»). «Птиченька-птиченька, маленький заинька, – шептала воспитательница, – ну ты что, ну ты что? Это же наш врач, это проверенный врач, это ж не из тех врачей, это наш верный врач, наш надежный проверенный врач».

СУЖЕНЫЙ, РЯЖЕНЫЙ

– Муж купил мне джинсовый костюм! Муж купил мне джинсовый костюм! Муж купил мне джинсовый костюм! – вопила Аля и только чудом не стукалась головою об потолок, и надрывно визжала под ее прыжками тощая пионерская кровать. Пятеро ее соседок по палате молчали, Пава делала вид, что роется в своем мешке с трусами. Аля рухнула, наконец, на постель пластом, последний раз подкинулась и обмякла.

– Домой звонила, – объяснила она.

Про Алиного мужа Сергея все знали с первого дня – вся палата, которой Аля рассказала о своем браке по секрету, весь отряд, по которому Алина романтическая история расползлась радужным и душным бензиновым пятном, весь лагерь знал про Алиного мужа Сергея, про его девятнадцатилетнюю зрелость, про то, что он учился в консерватории на скрипача.

– Куртка вот такая с плечами и бананы, все вареное, – сказала Аля, задыхаясь.

Никто не ответил ей, Марина, как всегда безразличная к внешнему миру, плавно поднимала и опускала руку – вышивала тигренка, Пава старалась оставаться незаметной, остальные

смотрели на Алю молча и жадно, и Пава хорошо чувствовала, какие они внутри злые, едкие, желто-зеленые. Аля рассказала им в первый же день, что их с Сергеем отцы вместе воевали с немцами, вместе попали в плен и поклялись друг другу на крови, что если спасутся – поженят детей, и хранили от семьи эту тайну, пока Але не исполнилось пять лет, а Сергею двенадцать, и тогда детей тайно обручили, так что Аля уже семь лет как мужняя жена, и Сергей мог бы, если бы хотел, даже поломать ей целку, потому что муж имеет право, да только он не дурак ее портить и калечить, потому что если слишком рано начать, то можно и не родить никогда, а они поклялись отцам, что родят пять сыновей. Однажды вечером Пава, шарясь от тоски и скуки по кустам и камышовым зарослям, слышала, как кто-то из взрослых (кто – в сумерках не разглядеть было) говорил Але томным мужским голосом, сидя рядом с ней на склизком сыром боне у мутной реки: «Сильный мужчина твой муж, Алечка», и как Аля отвечала: «Еще какой! От скрипки знаете какие руки сильные?», а голос, посмеиваясь, говорил: «Да я не об этом», и Аля молчала, кажется, растерявшись, – словно над ней пошутили, а она не могла понять смысла шутки и боялась переспросить, – а Пава-то все понимала и в этот момент чувствовала себя желто-зеленой изнутри, жаркой, жалкой, жадной. То один мальчик, то другой с перекошенным лицом прибредал во время общего обеда в столовую или на дискотеке стоял, опустив руки, глядя на Алю больными глазами, и все знали, что Аля очередного ухажера (иногда совершенно неожиданно избранного, на всеобщий лагерный взгляд) поматросила пару дней и бросила, потому что он «забыл, что она женщина замужняя», а в чем именно состоял его проступок – узнать ему было не суждено. Сейчас, например, хвостиком ходил за ней совсем маленький беленький мальчик двумя отрядами ниже Али по рангу, Аля его тискала, как щеночка, а он умирал и таял и боялся лишний раз вздохнуть, наученный горьким опытом старших товарищей, и, когда отскрипели пружины, слышно стало, что он жалобно зовет под окном: «Аля! Аля! Выгляни на минутку!», но Аля только поморщилась.

– А еще что купил? – спросила толстая девочка Ламанова, склоняя набок голову. Ее двоюродная сестра, на год младше (палата знала по секрету, что не сестра, а просто в поезде познакомились, но без вранья их бы не поместили в один отряд), умная и всегда что-то высчитывающая тощая мышка, тут же подхватила:

– Еще что купил хорошего?

– Себе такой же костюм, – немедленно ответила Аля, переворачиваясь на бок. – У его отца денег завались, Сергей меня

будет одевать как куколку, у меня уже есть платье без плеч, я в нем осенью на его концерт пойду, он мне купит каблуки.

– Он тебя уже как куколку! – всплеснула крошечными руками мышь, и Аля на секунду снова, как показалось Паве, замолчала настороженно и растерянно. – Джинсовый костюм вареный купил!

– И клипсы красные кольца, – с облегчением сказала Аля, снова откидываясь на спину.

– Тебе так пойдет! – воскликнула мышь, прижимая ручки к груди. «Молчи», – говорила себе Пава, – «молчи, молчи, молчи», – и если бы не мышь, если бы не вот это лимонное, разъедающее и безжалостное в мышином попискивании, то Паве легко бы было молчать, ей вполне хватило первого раза, вполне хватило с первого раза до сих пор страшно ноющей (и даже, кажется, выпирающей из-под волос) шишки на голове и иногда вспыхивающей под этой шишкой тошнотворной головной боли. Она просто спросила тогда изумленно: «С немцами воевали? Сколько ж твоему папе лет?», и даже не поняла сразу, откуда вдруг тупая боль в животе, и в лодыжках, и почему голова ее бьется об тумбочку раз, и два, и три. Аля лупила ее страшно, слепо, бешено, и от ее визга у Павы звенело в ушах, Аля орала: «Не веришь, да? Не веришь мне, сука? Не веришь мне, тварь?! Я вру? Я вру?! Скажи мне, что я вру, сука, скажи мне, что я вру, пизда, говно, давай, скажи, я тебя угандошу!» Потом Пава криво сидела на полу, ручка от тумбочки упиралась ей в спину, а тоненький голос мыши объяснял набежавшим вожатым, что девочки увидели в палате мышку и так перепугались, что Алечка закричала, а Павочка отскочила и упала, и ударилась головой об тумбочку. Та же патока была и сейчас у мыши в голосе, и от этой патоки жалость к Але становилась в Паве все острее и острее, и она молчала. Пава исправно звонила маме через день в пять часов, и единственный доступный пионерам телефон, всегда готовый к выходкам, третьи сутки уже мертвенно молчал, когда поднимали трубку, и никакое дерганье и покачивание рычага, даже магическое «два раза коротко – один раз длинно», о котором весь лагерь знал, не могли заставить этот пахнущий старой краской автомат подать голос. Аля со сладостным вздохом смолкла, и стало слышно, что маленький беленький все еще скулит под окном.

– Блин, – сказала Аля и рывком перегнулась через подоконник и гавкнула:

– Что?!

– Ты купальник потеряла на пляже, – пробормотал маленький беленький, поднимая лапку с темным комком, из которого, покачиваясь, свисали веревочки. – Мне Лев-Сандрович отдал,

сказал спросить, твой – не твой.

– Не потеряла, а забыла! – гавкнула Аля и плюхнулась на кровать с показным страдальческим стоном, а мышь пропела ласково, что хоть бы и потеряла – муж ей сто купальников купит, даже и раздельных и с чашечками. Мышь пела и пела, Аля мягким взглядом смотрела в потолок – рыженькая, рябенькая, мерцающая персиковым светом снаружи и изнутри, – толстая девочка Ламанова сидела, склонив голову набок и распустив красивые яркие губы, Марина беззвучно считала стежки, Пава мазалась кремом от комаров и все не могла запомнить, намазала уже ноги или нет, наклонялась понюхать их и все равно ничего не понимала – так сильно пахло в комнате кремом от комаров.

С МОРЯ ВЕТЕР ХОЛОДНЫЙ ДОХНУЛ ИЗ-ЗА ТУЧ

Документов при девочке не было, отпечатки пальцев ничего не дали. Ей было лет шесть, от силы – семь. Она была чистенькая, аккуратная, только распущенные волосы сильно спутаны и белые кроссовки в земле, как будто она долго пробиралась по парку или просто топтала газоны.

– Привет, – сказал он, присаживаясь перед девочкой на корточки и широко улыбаясь. – Я Питер, а тебя как зовут?

Девочка не шелохнулась.

– Тебе тут нравится? – спросил он. – Вообще-то я люблю эту комнату. Никому не рассказывай, но я иногда забираюсь сюда отдохнуть и поговорить с Мистером Долгоухом. – Он кивком указал на большого, мягкого, нескладного зайца, сидящего в одном из цветастых детских креслиц. Девочка не шелохнулась.

– Мне кажется, – сказал он, – вас надо познакомить.

Он потянулся, подхватил зайца, посадил его к себе на колено и помахал девочке бескостной мохнатой лапкой.

– Привет! – сказал Мистер Долгоух дурашливым голосом. – Меня зовут Мистер Долгоух! А ты кто?

Девочка не шелохнулась.

– Давай-ка я попробую угадать, – сказал он, возвращая зайца на место. – Посмотрим, посмотрим… – Он сделал вид, что вглядывается в девочкино лицо. – Наверное, ты Мэри!

Девочка не шелохнулась.

– О нет, конечно, не Мэри! – сказал он. – Ты наверняка Кейт!

Девочка не шелохнулась.

– Ах нет, нет, конечно, не Кейт! – сказал он. – Как я мог так ошибиться! Ты же вылитая Джесси!

Девочка не шелохнулась.

Он переглянулся с медсестрой, стоявшей у двери; медсестра смотрела сочувственно.

– Очень, очень странно! – сказал он. – Но если ты не Мэри, и не Кейт, и не Джесси, то у тебя должно быть какое-нибудь совершенно удивительное имя! Может быть, ты Кристина-Клеменция?

Девочка не шелохнулась.

– Или даже Маргарита-Юлалия! – сказал он.

У него начали затекать лодыжки, и он сел прямо на разукрашенный попугайчиками ковер.

Девочка не шелохнулась.

– Дарлина-Сю? – спросил он.

Метод явно не работал, девочка не вовлекалась в игру.

– Ипполита-Ди? – спросил он, теряя надежду. – Аннабель-Ли?

Девочка резко вскинулась и изумленно посмотрела на него огромными темными глазами.

Ирина Нахова. Сирота [24]

Меня зовут Ира. Мне 62 года. Я – сирота. Мама умерла в 2009 году, папа в 2006, бабушка Шура в 1991, а дедушка «Ка», Георгий Николаевич, – в совсем далеком 1967-м. Сиротой я стала довольно рано, лет в 12, когда обнаружила паспортное существование своей единокровной сестры Люси, которую родители от меня скрывали: обделили! забрали то, что мне законно принадлежит!

А может быть, когда разлюбила своего обожаемого «Ка»? Старика и ребенка перестали объединять общие интересы. Ребенок вырос из детства. Смерть деда прошла для меня вполне безболезненно, умер он в больнице, уже мной разлюбленный. Наша двухкомнатная квартира стала свободней и просторней. Я стала жить в комнате только с бабушкой, а не втроем с бабушкой и дедушкой.

Или еще раньше, когда в первом классе, в расставленной бабушкой для толстого ребенка пачке и купленных по этому случаю пуантах, неуклюже танцевала «золотую рыбку», а Юра Рыбальский накидывал на меня сеть, разом прекращая мою балетную карьеру? Я впервые осознала нелепость и позор происходящего. Отчуждение от теплой толпы одноклассников, от школы, от учителей – отпустите меня отсюда, я не хочу в школу, хочу на 42-й километр, на раскладушку, под одеяло, читать про Бэмби в книжке с ударениями или нестись вместе с Хансом и Гретель по каналам Голландии на серебряных коньках – прошло благополучно. Я навсегда потеряла чувство коллективизма, еще не приобретя его.

Вчера мне приснился сон. Утренний, на всю жизнь. Сон космической обездоленности. Донская, я приезжаю навестить родных после долгого отсутствия. Все на месте, кроме дедушки. Его отдали в дом престарелых. «Бабушка, когда ты видела дедушку?» – спрашиваю я у бабушки, которая сидит на своей постели. «Очень давно», – отвечает бабушка. Я начинаю искать телефон в этот дом престарелых, чтобы позвонить. Звоню матери на работу – она начинает объяснять мне, что теперь таких домов много, и у дедушки отдельная комната, но только один телефон, и она тоже там давно не была, мобильный дедушке трудно набирать, и поэтому у него его нет. Я говорю, что есть же телефоны с большими кнопками, вспоминаю Анину маму Марию Евгеньевну. Она же звонит, набирает. Пока я говорю с матерью по телефону, который стоит в большом коридоре на тумбочке под зеркалом, я вижу, что без меня сделали новые антресоли и

дверцы покрасили в салатовый цвет. Полуодетый отец выходит из своей комнаты и по стремянке поднимается к этим новым антресолям. На небо, что ли, он лезет? На самом деле он подслушивает, о чем я говорю с матерью. Потом появляется мама и говорит, что поедет к дедушке завтра. По ее зеленому, открытому и виноватому взгляду я понимаю, что ее мучает совесть. Она – молодая крашеная блондинка.

Родители были люди пугливые и осторожные, что и привело их к верхним ступенькам советской профессиональной лестницы. Однако должности и звания от страха не избавили. В маме этот страх пребывал откровенно. Он жил в ее светлых виноватых глазах, постоянно фонил во мне тревогой и гнал меня прочь от нее. Мама могла считать себя сиротой с бо́льшим основанием: ее отца, моего кровного деда Кузьму, забрали ночью в мамином подростковом присутствии в1937-м. Больше она его не видела.

В отце на поверхности страха не было: он успешно и, кажется, легко умел убеждать себя в господствующих теориях и взглядах, делать их своими и поэтому иметь нужные суждения. Это делало его уверенным в себе, легким в общении, не обремененным депрессией балагуром с набором пошлых острот и анекдотов. С близкими же папа общаться не любил, ничего нового и захватывающего в них не видел, покорять было некого. «Отстаньте от меня» и «Не мешай, я работаю» – и дверь в его комнату-кабинет-спальню закрывалась. А иногда и на ключ. Мы были вынужденными соседями в тесной коммунальной квартире, покуда папа писал философско-любовные стихи молодым университетским особам или сочинял полупорнографическую повесть «Диоген Синопский». Выбор героя говорил о том, что и в очень стесненных обстоятельствах можно быть гением. Правда, папа забывал о том, что Диоген обладал бескомпромиссной свободой слова. Балагурство ушло только в последние годы жизни, а филологические навыки оставались до самого конца: находясь в больнице, папа, пытаясь последними силами зацепиться за ускользающую реальность, ежедневно исписывал бисерным почерком крохотные бумажки. Повторяющиеся записи – имена и телефоны родственников, кому надо позвонить, и таки всплывшие на поверхность страхи. Милейший лечащий доктор Александр Иванович представлялся папе начальником тюрьмы, в которой он, папа, сидит. Это верное осознание реальности пришло к папе только в 2004 году.

Подготавливая меня к сиротству жизни в СССР, мама учила меня врать с малолетства.

В школе нельзя было говорить, что папа еврей, а дедушка был врагом народа. Родители также хотели обезопасить меня и от еще

вполне молодых и здравствующих родственников. Сестру мою Люсю я обнаружила самостоятельно в 12 моих лет, роясь в запретном отцовском, запертом на ключ письменном столе. В его паспорт, где стояла срамная пятая статья национальности, была внесена дочь Людмила от папиного первого брака. Я была крайне оскорблена решением родителей лишить меня сестры, о чем им с возмущением и доложила.

Много о чем не стоило говорить. Родители прятали от меня незначительный самиздат – откуда они его брали, неизвестно, да и пленки Высоцкого, Окуджавы и Азнавура проигрывались довольно тихо.

Заповедь «Не верь, не бойся, не проси» у мамы превращалась в отредактированный вариант: «Не верь». Мама работала редактором в издательстве и уж точно знала, что можно было говорить, а что нет.

Мамины уроки не проходили даром: каждый год в школе я получала похвальные грамоты за примерное поведение и успехи в учебе, что не составляло никакого труда. Большую часть учебного года я сказывалась больной, маминым почерком писала записки учителям и вольно разгуливала по Москве, покупая дефицитные билеты на Таганку и к Эфросу на Малую Бронную. В свои 12 лет я выглядела на все 18, акселерация брала свое. Тетеньки в театральных киосках и кассах придерживали для меня билеты. Они были не очень дорогие: 1 руб. 20 копеек. Культура была доступна.

Люди учились читать между строк и понимали, на что намекает автор. «Эй вы, встречные, поперечные! Тараканы, сверчки запечные! Не народ, а дрохва подбитая. Русь нечесаная, Русь немытая! Вы послушайте новый вольный сказ, новый вольный сказ про житье у нас. Первый сказ о том, что давно было. А второй – про то, что сейчас всплыло», – вопил Высоцкий строками Есенина на сцене Таганки в 1967 году, бросался на цепи, звонил в колокола и погружал 12-летнего подростка в катарсическое состояние восторга.

Сделало свое гиблое дело и литература. Книжки стояли у папы на полках сплошной круговой обороной, но всегда можно было обнаружить слабое звено. Тринадцатитомный красный коленкоровый Маяковский стоял на верхней полке стеллажа, до него можно было дотянуться только встав на спинку хлипкого кресла. Благополучно спустившись на пол с добычей, можно было с наслаждением маршировать под собственное оглушительное декламирование: «Разворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним.

Левой! Левой! Левой!» Советская классика призывала к восстанию и неповиновению.

Страну, место проживания не выбирали. Выбора не было или он был крайне скуп: только сыр и колбаса, да и то если повезет. Выбирать можно было друзей. И это были избранники души, братья по сиротству и неверию, бесценные подарки свободы. Как люди находили друг друга, для меня остается загадкой. Но это происходило, да и сейчас происходит, правда, редко.

В СССР сомнения и неверие в существующий порядок превращали индивидуума в «безродного космополита» и сироту. Ты мог быть либо своим, либо чужим.

Я, впрочем, никогда не чувствовала ущемленности от собственного сиротства и до сих пор с гордостью называю себя космополитом. Безродным ли? Сияющие из тьмы старых фотографий лица эманируют присутствие небытия. Это отпечатки того, чего уже больше нет, и мне оставлены эти свидетельства прошлого с тем, чтобы разгадать все то, о чем мне никогда не рассказывали, пытаясь избавить меня от тяжести памяти и судьбы этого места. Сироты – это путешественники, историки и хранители памяти, всегда в поисках родителей и родственников.

Папа и мама были одинаково успешны, избрав противоположные тактики выживания. Мама – «Ври», отец – «Верь». Видимо, так управлялись с этой задачей и другие миллионы: ври или верь. Исчезали люди, которые не верили, не врали и не молчали.

Может, и художником я стала благодаря вранью. Свои фантазии, то есть вранье, художник воплощает на плоских поверхностях и старается эти поверхности сделать реальностью. Врет по полной, с убеждением, предвосхищая виртуальный мир фейковых новостей. Моя вина, скажу я. Отсюда обратная задача – возвращение к реальности.

Я не хочу быть похороненной с моими родителями или прародителями. Я не хочу очутиться в тесном коммунальном пространстве Донского кладбища. Мне хотелось бы присоединиться к супу ДНК вместе с накатывающими волнами океана, вдоль которого я часто хожу, ищу и нахожу в нем смысл нашего сиротского существования.

Леонид Гиршович. Человечество: План Б [25]

– Еще одно усилие, и у вас вырастут крылья, я их уже вижу.

– Может быть, только это очень тяжело, когда они растут, – молвил Ваня, усмехаясь.

Михаил Кузмин, «Крылья»

Пятнадцатилетний Олекса стоял на кромке выутюженного волною песка, с которого постоянно исчезали следы его босых ног. Вот-вот в слепящем янтаре зачернеет доисторическая мушка: трехсотлетней давности биплан.

Родители никогда не брали его на небо, и оттого твердо стоявший ногами на земле Олекса был лишь сторонним свидетелем их парения. Он сознавал, что ему не дано крыльев, их крыльев, – и малодушно испытывал чувство облегчения: слышал, что это очень тяжело, когда они растут. Боясь причинить родителям боль, Олекса был щедр на знаки восхищения и любви, отчего они часто бывали нарочитыми.

– Хэй! Человек на необитаемом острове! Сюда! – сорвав с себя красно-белую тельняшку, Олекса примется размахивать ею.

Эту игру – в потерпевшего кораблекрушение – родители придумали, когда только взяли его в семью. Олекса давно уже не сирота карпатская с замершим, как ящерица на стене, взглядом: вдруг ящерица метнется в сторону. Спору нет, лучше быть детдомовцем среди чужих садов и парков, чем донором своих внутренностей на родине. Но в мире садово-парковой культуры детдомовским сорнякам всегда грозит прополка, детдом есть детдом, а дом есть дом. Вот и размахивал он изо всех сил своей красно-белой маринеской:

– Ахой! Человек на необитаемом острове! Сюда! (Сейчас они прилетят и усыновят его.)

Маленькому, ему это страшно нравилось, теперь же выглядело глупым, бесстыдным. Однако поневоле приходилось участвовать в этом семейном параде гордости. Вздох.

– Это вы Человек на необитаемом острове?

– Да.

– Мы здесь, чтобы вас спасти. Друг Энцо, мы у цели.

– Это он, Человек на необитаемом острове? – спрашивает Энцо. – А почему он без майки? Замерзнет.

Олекса на ходу натягивает на себя красно-белую тельняшку.

– Вот мы вас сейчас накормим, напоим и обогреем. У нас есть травяной чай с горы Килиманджаро. Есть у нас и козий сыр с острова Патмос со следами зубов Иоанна Богослова. Черный хлеб есть с кориандром, испеченный русскими монахинями в память о картечи, которая четыреста лет тому назад рассеяла на Бородинском поле конницу Мюрата. Так что не пеняйте нам, Человек На Необитаемом Острове, если он немного зачерствел.

– Что ты такое говоришь, Энцо! Бородинский хлеб не черствеет никогда. Ужин на столе, Человек На Необитаемом Острове. Кушайте на здоровье. Здоровее пищи нет.

Олекса предпочел бы африканскому травяному чаю «африколу», древнегреческому сыру – чипсы с майонезом, черному хлебу, испеченному по рецептуре русских монахинь, порцию попкорна – как у Джованны. Но он даже заикнуться о ней не смел. Иначе… иначе… даже подумать страшно, что иначе.

Энцо Бенци ошибался, верней, как это часто бывает, обманывал себя, говоря: «Если отец-одиночка растит мальчика, на этого мальчика всегда будут показывать пальцем, а если супружеская чета – без проблем». Энцо наивный человек: отец ли одиночка, супружеская ли чета, обозначенная в сертификате об усыновлении как «родитель a» и «родитель b», – все это решительно не играло никакой роли для тех, кто практиковал смешанный брак. В глазах натуралов Олекса не мог не следовать заразительному примеру усыновившей его четы – а то с чего бы им было его усыновлять? Станет тебе селезень кукушонка ростить.

Вот и стал Олекса белой вороной, еще одним из группы риска – мишенью для ботинка, которым в него запустит сверстник с Баальбекстраат: «Ихса!» («Пфуй!»). Для этих Олекса «нехаляльщик» вдвойне: и как кяфир и как гей. Туда ему лучше не ходить. Не полагаться же на шариатскую полицию, в самом деле. Полис де мёрс, как она именовалась (полиция нравов).

В годовом тесте был такой вопрос: «Современником кого ты предпочел/а бы быть? Клеопатра, Саладин, Королева Марго, Леди Ди, Че Гевара, Надежда Савченко, Файруз, Амина, королева Заззау, Иисус Христос». Все хотели водить компанию с Иисусом Христом, петь: «Джезус Крайст! Суперстар!» Двое отстающих в музыкальном развитии предпочли Войну за Независимость и щелкнули Амину, королеву Заззау.

Но Олекса не витает в облаках, а мыслит здраво: переместиться в прошлое – спасибо. Он уже был однажды перемещенным лицом (displaced person или проще «ди пи»). А быть перемещенным что в места не столь отдаленные, что во

времена не столь отдаленные – разницы никакой. Вдруг он там заболеет или уколется шипом снежаты пурпурной и у него начнется гангрена?

– Человек с ограниченными конечностями отошел в прошлое, – молвил Олекса, усмехаясь. – А когда-то таких было полно, без рук, без ног на бабу скок.

На это сэнсэй выключил его – по-старому, выгнал из класса.

А что он такого сказал? Сэнсэй совсем малость того. Безногих давно уже нет, а надо говорить: «Человек с ограниченными возможностями на бабу скок».

Олексу чаще других выключали за политбестактность. Вырвется не то слово – «исламист» вместо «исламей» – иди гуляй.

Ну и пойдет – к Джованне. У Джованны трое маленьких ребят, погодки от восьми и ниже. («Ой, погодушки мои, распогодушки», – поет Джо, смешно передразнивая Зыкину.)

Раз Олекса поставил ногу на скамейку – отстегнулась резинка – когда рядом опустился ё-мобиль, на одном из воскрыльев киноварью выведено: «Джо Мэтчем».

– Куда ты, кукушонок? – спрашивает Джо.

– Куда-куда – на кудыкину гору.

Грубоватый подросток, которому вдруг рукава стали коротки. Не знает, что делать с руками. Впрочем, у Олексы они были заняты веслом. Все обучающиеся гребле ходят с веслом, вот почему перед каждым яхт-клубом стоит девушка с веслом.

– Твои же родители воздухоплавающие – не водоплавающие, зачем тебе весло?

– Они это они, а я это я, – Олекса пользовался любой оказией, чтобы дать понять: он из другого теста. Только в это мало кто верил. («Станет тебе селезень кукушонка ростить».)

– Тебя Олексой зовут? Интересное имя: кому женское, а кому мужское. Как и мое. Я – Джо.

– Олекса мужское имя. Олекса Довбуш – национальный герой гуцульского народа.

Олекса втрескался в Джо, это было его первое касание женщины.

– Яна, Жаннет, Джо – как твоей душеньке угодно. Прошу меня любить и жаловать.

Джо была любопытная: и о чем разговаривают дома, и как он их называет, и спит ли он вместе с ними или вразножопицу? Услыхав, что врозь, была страшно разочарована:

– Милый лжец, такого не бывает.

– Да нет, правда. Твои дети тоже с тобой не спят.

– Сима и Яфа нет, а Хамон прибегает по ночам. Но с Хамоном – другая песня.

И долго еще не верила, все хотела услышать детали, потому что дьявол – это великий бог деталей.

– А едите что?

– А едим мы древнегреческий козий сыр, а еще бородинский хлеб с кусками шрапнели. А пьем кенийский травяной чай. Здоровей пищи нет.

– А у меня еда, которой «нет тебя вреднее», – она улыбнулась – улыбкой обольстительницы. – Помфриц с майонезом, попкорн и афри-кола. И сиропные медведики. Ням-ням – никому не дам. Только если хорошо попросишь.

– Классный ё-мобиль, – сказал Олекса, то ли оставаясь в теме, то ли меняя ее. – А почему киноварью?

– Потому что у меня кровь горячая. Ты хочешь, чтоб я писала свое имя зеленкой, как другие?

Джо привела обладателя длинного весла к себе – угостить «чем бог послал».

– Трехэтажный, – сказал Олекса, оглядываясь по сторонам. – Ну ты даешь, Джо.

– Трехуровневый, дурачок. Трехэтажный бывает…

Вывеска над дверью врала: «Грот Дианы».

– Грот-мачта, – молвил Олекса, усмехнувшись. – Откуда у богини грот?

– А ты сообразительный, хватаешь все на лету. Как мой Сима.

Появился Сима – по первому требованию.

– Ангела вызывали? – и убежал. («Ангела вызывали?» – сериал, которым засматривались все дети.)

Олекса представил себе цирковую собачку: как она, подлетев на два метра, хватает кусочек сахару.

– Цирк! – сказал он.

– Хочешь пива? Ну… раз, два, три…

– Кто пьет пиво, тот писает криво.

На «Евровизии» победила Кончита Меркадо с шутливой песней-шансоном «Писсуар де Пари». Это оттуда. С музыкой Олекса был на вы: песен не помнил, «Евровизию» называл «Еврофизией».

– Мне жаль тебя. Песня выражает словами то, что у тебя на душе. Когда Зайованка спела «Боже, какой мужчина! Хочу иметь от тебя сына!», знаешь сколько женщин сразу обратилось в Страсбургский собор с просьбой прислать биоматериал президента СЭВ (Союз Эвразийских Витязей).

– Что я, виноват, что мне слон на ухо наступил? – он жалобно улыбнулся, но сочувствия не встретил.

– Конечно, виноват, – сухо сказала она. – Сима, ну что ты прячешься? Или выходи с поднятыми руками, или открою огонь.

Выходит с поднятыми руками.

– Я Сима, прошу меня любить и жаловать.

– Ну, хорошо, молодец. Хочешь знать, как выглядит человек после того, как ему медведь на ухо наступил?

Какая-то обидная нотка в этом послышалась.

– Не медведь, а слон, надо говорить, – поправил Олекса.

– Кого ты учишь? Я произвела от себя три народа. У семилетнего Сима над верхней губой уже чернеет усик, Яфет обещал стать красою полнощных стран. И третий, Хамон… да вот он! Легок на помине. Хамончик!.. Это мой Хамон, он писается ко мне в кровать со страшной силой… Что ты испугался, чумазенький? Дядя добрый.

Джованна была прелесть: живая, умница, но главное, она была женщиной. («Олекса Довбуш, готов ли ты взять в матери эту женщину?» – «Да».)

– Ты что, сама их рожала?

– Да ты что! Представь себе, малыш: я, как какая-нибудь Фатима, хожу, переваливаясь, с забинтованными ногами. Я цыганку одну брюхатила.

Продев кисть в его локоны и держа на ладони его затылок, как державу, а скипетр сжимая в другой руке, она пропела низким грудным голосом:

Как боится седина моя
Твоего локона.
Ты еще моложе кажешься,
Если я около.

– Ну, я не прощаюсь, – сказала она, целуя его на прощание.

Поцелуй это что-то новенькое. Он видел, как целуются в кино или парочки – особенно в тех районах, что патрулируются полис де мёрс: подразнить полицию нравов.

– Да ты целоваться не умеешь! – удивилась Джо. – Дай-ка я тебя поучу. И чему только твои родители тебя учат.

Познав сыновнюю любовь к матери, Олекса уже не может, как прежде, играть в Человека на необитаемом Острове. А что, если честно во всем признаться? Встретил одну женщину и с нею понял, что значит иметь собственную мать. Ни с чем не сравнимое блаженство! Чувство, о котором столько сказано и столько написано: любовь к матери. Он раньше был маленький и не понимал, каково это – иметь собственную мать, расти в семье народов с Симом, Яфом и Хамончиком.

Но как – как такое скажешь старенькому Энцо Бенци.

Раз он ввалился к ней со сломанным веслом и разбитым

носом. Она его не ждала, да и в общем-то уже начинала пугаться этого «приключения на свою голову», как говорила ей подружка. «Ищешь, мать, приключений на свою голову». Эта подружка и впустила Олексу, явившегося с изукрашенной «еврофизией» и с двумя половинками весла.

– Раны Господни! Скорей скорую!

Но Олекса повел себя как настоящий мужчина.

– Ерунда. Это ему надо скорую. Удар был страшной силы, копье напополам.

Вошла Джо.

– Алекс, что случилось? – голос сердитый, такое же лицо. А он-то думал, что всполошится.

– Ничего особенного, поразмялся с одним. Рассказать?

– Сперва иди умойся.

Пока Олекса, закрывшись в ванной, разглядывал себя в зеркале и смывал следы боевых действий, Джо мрачно перебирала грани на ножке хрустального бокала, вертя его в пальцах.

– Говорю, ищешь приключений на свою голову, – заладила подружка, как испорченная пластинка.

– Кто тебя так? – спросила Джо, когда он вышел из ванной.

– Не меня «так», а его «так». Я ему веслом, знаешь как. У меня же это не весло, а копье. Ты же знаешь.

– Знаю, знаю. Вот моя подруга, познакомься.

– Подруга. Мы уже успели, но можно еще раз, – и протянула руку. Под насмешкой пряталось любопытство: – А твои родители что на это скажут?

– А когда они меня увидят, уже все заживет. До воскресенья их дома не будет, они сейчас на Полигоне счастья, готовятся к выступлениям авиаторов.

– Ну так что там у тебя стряслось, рассказывай? Обо что ты весло сломал?

– А что рассказывать? Он мне говорит: «Ихса!» Я послал его на три слова. А он не один, там еще стояли. Снимает он туфлю, не успел размахнуться, как я хватаю ее и в фонтан. А это был «тимберленд», триста йориков. Он меня кулаком. Остальные смотрят, не подходят. Тогда я веслом: раз! раз! раз!

– Слава богу, Алекс, ты отделался легким испугом.

– Я? Испугом?

– Молчи, гадкий утеныш. Они все могут.

Неловкое молчание.

– Ты к Джо как к себе домой приходишь, – сказала подруга. – Не спрашиваешь: можно – нельзя? А если б она была не со мной?

– Не с тобой?

Олекса не понял коллизии. Джо недовольно поджала углы рта: надо будет, сама скажет.

– Ты, подруга, не пугай так его. Дядя добрый.

Ревность – жираф. Наконец дошло: «А если б она была не со мной…». А с кем еще?

– Да ты что… Подруга пошутила. Ты что, шуток не понимаешь? Хочешь, Алекс, обменяемся майками? Ты мне свой рыжий тельник, а я тебе свою футболку? Ну как, мир? – Олекса заулыбался и вытер кулаком глаза. Она тут же стянула с себя тишотку. После рождения третьего ребенка грудь сделалась такой величины, что татушка с Джоном Ленноном выпучилась, как сэлфи. Фантомные дела: будто сама рожала, сама кормила.

Подруга глянула в сомненьи.

– Увидеть, как ты влезешь в его маринеску, и умереть.

– Ладно, меняемся назад.

Кто бы мог подумать, что в это воскресенье в самый разгар яркого зрелищного представления на Полигоне Счастья старенький «пегас» его родителей рухнет на землю, увлекая за собою прогулочный воздушный шар, на котором зеленой арабской вязью выведено «Аль Капоне».

В качестве заключения

Елена Вроно. Белая мышка – эмблема любви [26]

В 1989 году я впервые приехала на Запад. Мои друзья хотели показать мне что-нибудь удивительное и непременно медицинское. Они познакомили меня с профессором, детским гематологом, в его клинике тогда осваивали пересадку костного мозга для лечения у детей рака крови.

Посмотреть клинику нас позвали в субботу. Клиника детской гематологии Лейденского университета. Отдельный флигель, стоит в парке.

Мы сразу попали в просторный зал, по стенам – разнообразные приборы, все гудят, пощелкивают и светятся. В центре из прозрачного пластика натянут шатер, в шатре на высокой хирургической кровати сидит мальчишка лет 10. Без единого волоса на голове, веселый, машет нам и показывает, чем он занят: он играет с белой мышкой. Только я собралась умилиться гуманной голландской медицине, которая думает не только о лечении, но и о настроении своих пациентов, как мне объяснили, что мышка на самом деле нужна как индикатор стерильности в герметичном шатре. Ребенок после пересадки костного мозга всеми способами лишается иммунитета, иначе есть опасность отторжения. Мышка, оказывается, рождается абсолютно свободной от инфекций, и малейшее нарушение стерильности тут же отражается на ее поведении. Ну и поиграть с ней, конечно, можно…

Отделение занимает весь флигель. Сначала кухня – очень большая, похожа на домашнюю, только для очень большой семьи. Много небольших кастрюлек и сковородок. Детей в клинике 45 душ. Все получают высокотоксичную терапию, много побочных явлений. Аппетит страдает в первую очередь.

– Случается, готовим каждому что-то свое. Персонала много, родители помогают. Каждый день готовим свежее, не разогреваем. Чтобы как дома. Мальчики и девочки находятся в клинике вместе, только спальни отдельные. В спальнях по четыре-пять кроватей разного размера. Вместе живут маленькие и старшие. Чтобы как в семье.

И в общей комнате также и для учебы, и для игры есть место.

Все это мы рассматриваем в полной тишине и пустоте.

– Где же дети? – спрашиваю.

– Сегодня суббота, дети все по домам, вчера разобрали, завтра к обеду привезут.

– А как же эпидрежим? Дома же флора чужеродная, дети с пониженным иммунитетом?

– Риск инфицирования есть, конечно, но мы считаем его не таким опасным, как риск развития у детей депрессии в разлуке с семьей. Дети ведь у нас долго находятся. Мы стараемся, чтобы они не очень тосковали. Выходные дома – это очень важно.

В этой книжке собраны заметки разных людей, вспоминающих золотую пору своей жизни – детство. Практически все тексты – попытка преодоления травматического опыта, опыта детской психической травмы – травмы разлуки с домом. Травмы тем более чувствительной, что никто не сочувствует ребенку, а тоска по дому считается слабостью и признаком изнеженности и избалованности.

В практике помогающей деятельности есть весьма продуктивная идея: если нет возможности чего-то избежать, госпитализации, к примеру, нужно постараться уменьшить вред. Уменьшить в данном случае боль разлуки ребенка с домом. Всякие средства годятся, но белая мышка, конечно, вне конкуренции.

notes

Сноски

1

Степанова Мария Михайловна (род. в 1972 г.) – поэт, прозаик, журналист. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. В 2007–2012 годах была главным редактором интернет-издания OpenSpace.ru, с 2012 года – главный редактор проекта Colta.ru. Автор книг стихов «Песни северных южан», «О близнецах», «Тут-свет» (все – 2001), «Счастье» (2003), «Физиология и малая история» (2005), «Проза Ивана Сидорова» (2008), «Лирика, голос» (2010), «Киреевский» (2012), «Spolia» (2015), избранного «Стихи и проза в одном томе» (2010), «Против лирики» (2017), сборников эссе «Один, не один, не я» (2014), «Три статьи по поводу» (2015), книги философской прозы «Памяти памяти» (2017). Публиковалась в журналах «Знамя», «Новое литературное обозрение», «Зеркало», альманахах «Вавилон», «Улов» и др. Стихи переведены на английский, иврит, испанский, итальянский, немецкий и другие языки.

2

Улицкая Людмила Евгеньевна (родилась в 1943 г.) – биолог, литератор, немного поработала (три года) в театре завлитом. С 1981 года нигде не работает. Книги переведены на 40 языков. Автор произведений «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Искренне ваш Шурик», «Даниэль Штайн, переводчик», «Зеленый шатер», «Лестница Якова» и мн. др. Лауреат премии «Русский Букер» (2001), «Большая книга» (2007, 2016), премии Медичи (1996), премии Симоны де Бовуар (2010), премии журнала «Знамя» (2010) и многих других.

З

Ольга Алексеевна Вельчинская – художник, автор книги «Квартира № 2 и ее окрестности» (Русский путь, 2009), текстов в сборниках издательства АСТ (редакция Елены Шубиной): «Детство 45–53», «Школа жизни», «Стоп-кадр. Ностальгия», «Все в саду», «Москва. Место встречи», а также в книге «Возвращение в Москву» (Б.С.Г.-Пресс, 2014) и публикаций в журналах «Наше наследие», «Золотой век», «Историк и художник», «Театральный мир», «Контрабанда».

4

Гелия Певзнер – журналист, эссеист, гастрономический критик. Окончила филфак МГУ, сотрудник Международного французского радио RFI, также публикуется на русском языке в журнале «Огонек», на французском – Atabula, Alimentation Générale, на английском – Art of Eating. Автор двух детских книг по истории кухни (в соавторстве с Марией Марамзиной) – «Варенье Нострадамуса» и «Консервы Наполеона».

5

Гриша (Григорий Давидович) Брускин (родился в 1945 г.) – художник. В 1999 г. по приглашению немецкого правительства осуществил проект «Жизнь превыше всего» в реконструированном Рейхстаге в Берлине. Лауреат премии Кандинского (2012). В 2016 г. представлял Россию в русском павильоне на 57-й биеннале современного искусства в Венеции. Произведения художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Центре Помпиду (Париж), МОМА (Нью-Йорк) и др. Автор книг «Прошедшее время несовершенного вида» (НЛО, 2001), «Мысленно вами» (НЛО, 2003), «Подробности письмом» (НЛО, 2005), «Прямые и косвенные дополнения» (НЛО, 2008), «Все прекрасное ужасно, все ужасное прекрасно» (НЛО, 2016).

6

Мария Альтерман – переводчик с английского и иврита, редактор, журналист. Работала в изданиях «Грани.ру» и «Избранное. инфо», была выпускающим редактором в «РИА Новости», возглавляла русскоязычный отдел новых медиа в пресс-службе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Публиковалась в таких изданиях, как журнал «Огонек», «За рубежом», новосибирская газета «Студенческий город». Перевела с иврита пьесу «Марафон» Аарона Исраэля.

7

Алена Солнцева – журналист, театровед, кинокритик. Окончила ГИТИС им. Луначарского, театроведческий факультет. Работала в журналах «Театр» и «Огонек», в газетах «Время новостей» и «Московские новости». Была шеф-редактором телевизионной программы «Ничего личного» канала ТВЦ. Статьи, эссе и рецензии публиковала в газетах «Сегодня», «Коммерсантъ», «Ведомости», журналах «Театральная жизнь», «Знамя», «Октябрь», «Искусство кино», «Сеанс», Петербургский театральный журнал» и др. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры современного искусства РГГУ.

8

Никита Алексеев (род. в 1953 г.) – художник, литератор. Автор книг «Ряды памяти» (НЛО, 2008) и «В поисках Дерева-Метлы. Короткие мысли отшельника из Соломенной Сторожки» (GrundRisse, 2018).

9

Татьяна Малкина. Родилась в Москве в 1967 г., окончила журфак МГУ, работала в газетах «Московские новости», «Независимая газета», «Сегодня», «Время новостей», «Время МН». Вела телепередачу о культуре «Ничего личного», публиковала эссе и колонки в различных бумажных и сетевых изданиях, издавала с 2001 по 2014 г. журнал «Отечественные записки».

10

Мария Юльевна Игнатьева (Оганисьян) – поэт, эссеист, филолог. Окончила факультет журналистики (1985) и аспирантуру филологического факультета МГУ (1988). Защитила диссертацию по теме «Философско-эстетические принципы трагедии Кальдерона и Расина». В 1989 году переехала в Барселону, где преподавала русский язык в Государственной школе языков. С 2016 года работает в Москве доцентом на кафедре романской филологии ПСТГУ. Ведет курс креативного письма на факультете коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ. Автор трех книг стихов. Стихи и статьи публиковались в журналах «Знамя», «Арион», «Иностранная литература» и др. Составитель антологии современной русской поэзии в издании билингва на русском и испанском языках (La Hora de Rusia, 2011). Переводит стихи испанских и каталонских поэтов.

11

Алексей Моторов (родился в 1963 г. в Москве) – врач, писатель. Окончил Первый медицинский институт им. Сеченова, работал санитаром, медбратом, врачом, сотрудником фармацевтической компании. Автор книги воспоминаний из медицинской практики «Юные годы медбрата Паровозова» (АСТ, 2012). Номинант премии «Большая книга» (2013), лауреат премии «НОС» Фонда Михаила Прохорова в номинации «Приз читательских симпатий» (2012). В 2014 г. вышла его вторая книга «Преступление доктора Паровозова».

12

Мария Галина – биолог, поэт, переводчик, критик. Родилась в 1958 г. в г. Калинине (ныне Тверь), жила в Киеве, Одессе. Окончила биологический факультет Одесского университета, кандидат биологических наук. С 1995 года – профессиональный литератор. Подготовила и на протяжении нескольких лет читала курс лекций о современной поэзии (РГГУ). В настоящее время – сотрудник отдела критики журнала «Новый мир». Переводила прозу (по преимуществу англоязычных авторов), стихи (украинских, английских современных поэтов). Ее собственные стихи и проза публиковались более чем на 10 языках. Первая поэтическая публикация (в центральной печати) – «Юность», 1990. Автор нескольких книг стихов и прозы, лауреат литературных премий.

13

Алексей Петрович Цветков (родился в 1947 г.) – поэт, эссеист, журналист. Окончил аспирантуру Мичиганского университета по специальности «славянская филология». Работал на радио «Голос Америки» и «Свобода». Автор примерно двух десятков книг стихов и эссе, опубликованных в России и США.

14

Женя Снежкина – родилась в Москве в 1973 году. Училась на режиссера, психолога. С начала девяностых годов работала журналистом. Драматург, автор книг «Люблино», «К сыну», «Слушай. Говори».

15

Любовь Романовна Гурова (родилась в 1971 г.), переводчик, журналист, бизнес-консультант. Училась на филологическом факультете МГУ, окончила Свободный университет в Берлине, работала в газете «Русский Берлин», сотрудничала с русской и немецкой редакциями журнала GEO, публиковалась в журнале «Неприкосновенный запас». С 2005 по 2015 г. – советник крупных международных инвесторов в России. В 2017 г. перевела на немецкий язык книгу С. Чобана и В. Седова «30:70. Архитектура как баланс сил», вышедшую в издательстве DOM Publishers.

16

Андрей Георгиевич Бильжо (родился в 1953 г.). По первой специальности врач-психиатр. Кандидат медицинских наук. Проработав врачом около 15 лет, медицину оставил, т. к. творчество занимало в его жизни все больше и больше места. С 1991 года 15 лет был главным карикатуристом издательского дома Коммерсантъ. Автор популярного карикатурного персонажа Петрович. Пять лет сотрудничал с газетой «Известия», откуда ушел по идеологическим соображениям. С 1996 по 2005 год работал на шести каналах телевидения как телеведущий и автор мультфильмов. Написал более десяти сборников прозы, которые сам и проиллюстрировал, таких как «Записки пассажира. 24 вагона с комментариями и рисунками автора», «Моя Венеция», «Пять моих классиков», «Комариный бог» и др. Лауреат ряда профессиональных премий.

17

Мария Вадимовна Вильямс – журналист, редактор. Окончила факультет журналистики МГУ, отделение периодической печати. Работала в газете «Экспресс-Хроника», на сайтах InOut.ru, Weekend.ru, Афиша. Mail.ru. Автор книг «Очень страшные сказки», «Магазин мертвых кукол» и «Чужие».

18

Ирина Григорьевна Головинская – журналист, редактор, эссеист. Окончила романо-германское отделение филфака МГУ. Работала в газетах «Время новостей» и «Другой взгляд», журнале «Политбюро». Была редактором сайта радио «Свобода». Статьи, эссе и рецензии публиковала в газете «Сегодня» и журнале «Итоги». Автор-составитель сборника «Возвращение в Москву».

19

Наталия Юльевна Ким (родилась в 1973 г.), журналист, редактор, писатель. В 1996 году окончила журфак МГУ. Работала в международном комитете Госдумы РФ, пресс-секретарем ВЦИОМа (Левада-центра), обозревателем журнала «Континент», заместителем главного редактора журнала ElleGirl, редактором журнала Psychologies. Рассказы и стихи публиковались в «Иерусалимском журнале», журнале «Знамя», сборнике рассказов «Одна женщина, один мужчин» (АСТ, 2013), автор книги «Родина моя, Автозавод» (Время, 2018), номинант на премию «Национальный бестселлер» (2018).

20

Борис Дорианович Минаев (1959 г. р.) писатель, журналист, издатель. Работал в «Комсомольской правде», «Огоньке», журнале «Медведь». Автор нескольких книг прозы и документальной биографии «Ельцин» (в серии «ЖЗЛ»). Лауреат ряда литературных наград, в том числе премии журнала «Октябрь», двух премий «Ясная Поляна», финалист премии «Русский Букер». «Писатель года-2016» по версии журнала GQ за роман «Мягкая ткань».

21

Лев Семенович Рубинштейн (род. в 1947 г. в Москве) – поэт, эссеист. Окончил филологическое отделение Педагогического института. Литературой занимается с конца 60-х годов. В разные годы – участник многих поэтических и музыкальных фестивалей, художественных выставок и акций. Тексты переведены на основные европейские языки. Автор книг «Регулярное письмо» (1996, 2012), «Случаи из языка» (1998), «Домашнее музицирование» (2000), «Погоня за шляпой», «Духи времени», «Словарный запас», «Знаки внимания», «Скорее всего», «Причинное время». Автор статей и колонок в изданиях «Итоги», «Большой город», «Эсквайр», Grani.ru и др. В настоящее время постоянный колумнист интернет-издания inliberty.ru. Лауреат премии им. Андрея Белого и премии «Нос».

22

Маша Сумнина. Художник, писатель. Вместе с Мишей Лейкиным составляет дуэт МишМаш. Окончила факультет книжной графики в Университете печати. Тексты публиковались в журнале Schreiheft, газете «Иностранец», в прозаических сборниках переводов на английский (Cosmic Shift) и немецкий (Revolution noir). Автор книги «Три мегабайта из Нью-Йорка».

23

Линор Горалик (родилась в 1975 г.) – поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор около 20 книг стихов и прозы, среди которых «Говорит» (2004), «Короче:» (2008), «Подсекай, Петруша» (2007), «Устное народное творчество обитателей сектора М1» (2011), «Так это был гудочек» (2015), романа «Все, способные дышать дыхание» (2018), ряда детских книг. Автор переводов рассказов Этгара Керета и стихов Витаутаса Плиуры (совместно со Станиславом Львовским). Преподает теорию костюма в Высшей школе экономики.

24

Ирина Нахова – один из первых русских художников, начавший заниматься искусством инсталляции в России, создав в середине 1980-х в своей квартире серию проектов «Комнаты». В 2013 году Нахова стала лауреатом премии Кандинского в номинации «Проект года». А в 2015 году – первой женщиной-художницей, представившей Русский павильон на Венецианской биеннале. Живет и работает в Москве и Нью-Джерси (США).

25

Леонид Моисеевич Гиршович (род. в 1948 г.) – русский писатель, профессиональный скрипач, выпускник Ленинградской консерватории. Работал в симфонических оркестрах Ленинграда, Иерусалима, Ганновера. С 1973 года живет в Израиле и Германии. Автор книг «Фашизм и наоборот», «Прайс» (шорт-лист премии «Русский Букер»), «Обмененные головы», «Чародеи со скрипками», «Арена XX» (лонг-лист премии «Русский Букер») и др. Печатался в российской и зарубежной периодике.

Елена Моисеевна Вроно – практикующий врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Член правления Общества семейных консультантов и психотерапевтов. Автор книг «Несчастливые дети, трудные родители», «Поймите своего ребенка».